

ЛАУРЕАТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ!

ДЖУЛИАН
БАРНС

Одна

~~ОДНА~~

история

~~ИСТОРИЯ~~

Роман

Annotation

Впервые на русском – новейший (опубликован в Британии в феврале 2018 года) роман прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, командора Французского ордена искусств и литературы, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии. «Одна история» – это «проницательный, ювелирными касаниями исполненный анализ того, что происходит в голове и в душе у влюбленного человека» (The Times); это «более глубокое и эффективное исследование темы, уже затронутой Барнсом в „Предчувствии конца“ – романе, за который он наконец получил Букеровскую премию» (The Observer).

«У большинства из нас есть наготове только одна история, – пишет Барнс. – Событий происходит бесчисленное множество, о них можно сложить сколько угодно историй. Но существенна одна-единственная; в конечном счете только ее и стоит рассказывать». Итак, познакомьтесь с Полом; ему девятнадцать лет. В теннисном клубе в тихом лондонском пригороде он встречается миссис Сьюзен Маклауд; ей сорок во семь. С этого и начинается их единственная история – ведь «влюбленным свойственно считать, будто их история не укладывается ни в какие рамки и рубрики»...

- [Джулиан Барнс](#)
 -
 -
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)

- [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
-

Джулиан Барнс

Одна история

Посвящается Гермione

Новелла: небольшая повесть, обычно о любви.

Сэмюэл Джонсон.

Словарь английского языка (1755)

Julian Barnes

THE ONLY STORY

Copyright © 2018 by Julian Barnes

All rights reserved

© Е. Петрова, перевод, 2018

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство Иностранка®

* * *

Проницательный, ювелирными касаниями исполненный анализ того, что происходит в голове и в душе у влюбленного человека.

The Times

«Одна история» — более глубокое и эффективное исследование темы, уже затронутой Барнсом в «Предчувствии конца» (романе, за который он наконец получил Букеровскую премию)...

The Observer

Своего рода завершение условной трилогии, начатой Барнсом в книге воспоминаний «Нечего бояться» и продолженной романом «Предчувствие конца»: размышление о времени и о природе памяти, взгляд уже зрелого человека на юношескую любовь, определившую всю его жизнь...

The Guardian

Заявленная в названии «одна история» – это, разумеется, история любви. К добру или к худу, говорит Барнс, но у каждого из нас есть своя история любви, сделавшая нас теми, кто мы есть.

The Herald

Мы прекрасно понимаем, что никакой «единственной истории» в современном мире быть не может: есть только разные версии, разные перспективы, разные интерпретации, разные голоса. И перспектива тут действительно смещается, но не от персонажа к персонажу, а в зависимости от того, насколько рассказчик способен удерживать себя в центре своего рассказа: в первой части повествование ведется от первого лица, во второй части – во втором лице и в третьей – в третьем.

New Statesman

Вопросы соотношения слов и реальности, разрыв между ощущением и описанием – вот философская проблематика, интересующая Барнса-романиста. В этом смысле он близок к Айрис Мердок, с которой его роднит безусловно английское чувство абсурдного.

Times Literary Supplement

Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.

The Independent

В своем поколении писателей Барнс безусловно самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех

мыслимых литературных форм.

The Scotsman

Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.

The New York Times

Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос... Опять и опять он изобретает велосипед.

Джей Макинерни

Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.

The Times

По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков.

New Republic

Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.

Российская газета

Тонкая настройка – ключевое свойство прозы букеровского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом – в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства «грамматики жизни», как выразился один из его героев, на диво немногословно... В итоге и самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией.

Майя Кучерская

(Psychologies)

До начала работы я никогда не выстраиваю группу персонажей, с которыми потом неизвестно что делать. Я представляю себе некую ситуацию, невероятную дилемму, нравственный или эмоциональный тупик и только после этого задаюсь вопросами: с кем такое могло произойти, где и когда. В некотором смысле нынешнее произведение выросло из романа «Предчувствие конца», в центре которого находятся отношения – о них нам ничего не рассказывают – между юношей и немолодой женщиной. С помощью интуиции мы по крохам собираем разбросанные тут и там скудные доказательства. Здесь же, напротив, нам рассказывают все; впрочем, эта пара не имеет ничего общего с той, предыдущей.

Первой любви свойствен дополнительный моральный абсолютизм – ее попросту не с чем сравнивать. Ты еще ничего не знаешь, но вместе с тем у тебя появляется ощущение, что ты знаешь все: эти чувства могут обернуться бедствием. Вспомним Тургенева, одного из величайших прозаиков, писавших о любви. Повесть «Первая любовь» основана на его собственном юношеском опыте. Тринадцатилетним подростком он безумно увлекся девушкой лет двадцати, но сделал убийственное открытие: она – возлюбленная его отца. Пол, герой нынешнего романа, говорит, что первая любовь накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь: либо как пример, либо как контрпример. Впоследствии Тургенев влюблялся еще не раз, но в итоге остановился на взаимоприемлемом *ménage à trois* с выдающейся певицей Полиной Виардо и ее супругом. Трудно не связать это «безопасное» решение с теми ожогами, которые оставила у него в душе первая любовь.

Джулиан Барнс

Часть первая

Что бы вы предпочли: любить без меры и без меры страдать или же любить умеренно и страдать умеренно? Это, на мой взгляд, кардинальный вопрос.

* * *

Быть может, кто-то возразит – и будет прав, – что вопрос так не ставится. Выбора-то не существует. Будь у нас выбор, можно было бы поразмыслить. Но выбора нет, а значит, нет и предмета для размышлений. Разве мы способны регулировать меру любви? Если да, то любовь тут ни при чем. Как именно это называется – не знаю, но точно не любовь.

* * *

У большинства из нас есть наготове только одна история. Не поймите превратно – я вовсе не утверждаю, будто в жизни каждого случается лишь одно событие. Событий происходит бесчисленное множество, о них можно сложить сколько угодно историй. Но существенна одна-единственная; в конечном счете только ее и стоит рассказывать. Здесь рассказана моя история.

* * *

Но тут возникает первая загвоздка. Если история – одна-единственная, значит человек не раз ее пересказывал, хотя бы самому себе, как происходит и здесь. Тогда вопрос: приближают эти пересказы истинную картину событий или отдаляют? С уверенностью сказать не могу. Есть такой способ это проверить: посмотреть, становится с годами рассказчик в своем изложении достойнее или ничтожнее. Нарастание ничтожности указывает, вероятно, на более высокую степень правдивости. Вместе с тем ретроспективный взгляд таит в себе опасность антигероики: самокритика может оказаться специфической формой самовосхваления. Так что мне

надо проявить осмотрительность. Что ж, с годами я научился быть осмотрительным. Сейчас я столь же осмотрителен, сколь прежде был безогляден. Или безрассуден? Бывает у одного слова два антонима?

* * *

Время, место, социальная среда? Не знаю, насколько они важны в рассказах о любви. Возможно, в старинных книгах, в классической литературе, где ведутся битвы между любовью и долгом, любовью и верой, любовью и отечеством. Эта история – другого рода. Но если уж вы так настаиваете... Время: более полувека назад. Место: южнее Лондона, милях в пятнадцати. Социальная среда: как раньше говорилось, «маклерский пояс», правда биржевых маклеров я там в глаза не видел. Особняки – либо фахверковые, либо облицованные камнем. Живые изгороди из вечнозеленых кустарников, лавра и бука. Еще не знающие желтой разметки и парковочных «карманов» шоссе с придорожными канавами. В ту пору на пути в Лондон можно было припарковаться почти в любом месте. Наша пригородная зона носила уютное прозвание «Деревня» и когда-то давно, по всей видимости, таковой и считалась. Затем там построили железнодорожный вокзал, откуда мужчины в костюмах отправлялись на работу в Лондон с понедельника по пятницу, а некоторые еще и на дополнительные полдня по субботам. Появились остановка междугородного автобуса, пешеходный переход, отмеченный оранжевыми сигнальными маячками, почтовое отделение, церковь, освященная без затей в честь святого Михаила, паб, универмаг, аптека, парикмахерская, а также бензоколонка и при ней небольшой автосервис. По утрам гудели в рожок развозчики молока: покупатели могли выбирать между фирмами «Экспресс» и «Юнайтед дэйриз»; по вечерам и в выходные дни (кроме субботы) стрекотали бензиновые газонокосилки.

На деревенском лугу шумно и неумело играли в крикет; имелось поле для гольфа, действовал теннисный клуб. Садоводов радовала супесчаная почва – лондонская глина до этих мест не дотягивалась. Недавно в Деревне открылась кулинария, чей европейский ассортимент – копченые сыры и похожие на связки ослиных пенисов шишковатые купаты – некоторые сочли диверсией. При этом молодые хозяйки стали готовить более изобретательно, и мужья в большинстве своем только радовались. Из двух доступных телеканалов большей популярностью пользовался Би-би-си, нежели Ай-ти-ви; спиртное обычно пили только после рабочей недели. В

аптеке предлагались хоть пластыри от бородавок, хоть сухой шампунь в пузатых флакончиках, но только не противозачаточные средства; в универмаге лежала снотворная «Эдвертайзер энд газетт», но никакой порнографии, даже мягкой, не было и в помине. За товарами интимного назначения приходилось ездить в Лондон. Живя в Деревне, я в основном спокойно относился к этим ограничениям.

* * *

Ну ладно, повыступал в качестве риелтора, и хватит (в десяти милях располагалось настоящее агентство по недвижимости). И еще: не спрашивайте меня о погоде. Ну, не могу я упомянуть погодные условия, сопутствовавшие моей жизни. Я только усвоил, что жаркое солнце активно побуждает к сексу, что первый снег вызывает восторг, а холод и сырость провоцируют те ранние симптомы, которые в конечном счете приводят к двухполюсному протезированию тазобедренного сустава. Но ни одно важное событие моей жизни не имело своим фоном, а тем более причиной какие-либо погодные условия. Так что, если позволите, метеорология будет исключена из моего рассказа. Впрочем, если я упомяну, что играл в теннис на травяном корте, никто не помешает вам заключить, что в тот момент не было ни дождя, ни снега.

* * *

Теннисный клуб: кто бы мог подумать, что начнется все именно там? В юности я считал это место пригородным филиалом молодежного крыла партии консерваторов. У меня была ракетка, я немного играл, но точно так же мог выполнить пару полезных оверов в крикете и постоять на воротах в футболе – надежно и подчас с долей риска. Не обладая особыми талантами, в спорте я был азартен.

По окончании первого курса я приехал на три месяца домой, где откровенно и бессовестно скучал. Нынешняя молодежь даже не представляет, насколько затруднены были тогда всякие контакты. Почти все мои друзья разлетелись на каникулы кто куда, а телефонные звонки – ввиду негласного, но отчетливого родительского неодобрения – сводились к минимуму. Письмо, ответное письмо. Тягомотное, одинокое занятие.

Моя мать – видимо, в надежде, что я встречу какую-нибудь милую

блондиночку Кристину или бойкую Вирджинию с черными локонами (и то и другое вполне отвечало устойчивой, хотя и неявной консервативной традиции) – предложила мне записаться в теннисный клуб. И даже выразила готовность оплатить мое членство. Я про себя посмеялся над подоплекой материнского предложения: в мои планы совершенно не входило обосноваться в предместье с клубной женой-теннисисткой, произвести на свет среднестатистические два целых и четыре десятых ребенка, а когда придет срок – проследить, чтобы каждый из детей нашел себе пару в теннисном клубе, – и так далее, словно в гулкой анфиладе зеркальных комнат, ведущих к бесконечному листопадно-вечнозеленому будущему. На мамино предложение я согласился, но воспринял его в сугубо сатирическом ключе.

* * *

Записался; получил приглашение «войти в игру». Целью такого приглашения была безмолвная, по-английски тактичная проверка не столько спортивного мастерства, сколько общего уровня и светских манер. Если ничего отрицательного за тобой не замечали, в тебе автоматически признавались положительные качества; вот так это работало. Мамиными заботами моя теннисная форма приобрела безупречную белизну, а шорты украсились отчетливыми параллельными стрелками; на корте я не позволял себе бранных слов и старательно сдерживал отрывку и газы. При ударе справа активно работал кистью; в целом выглядел самоучкой-оптимистом, то есть играл так, как от меня ожидали, избегая своих любимых подрезок и не целясь сопернику в корпус. Подача, выход к сетке, удар с лета, еще один удар с лета, укороченный, свеча, готовность оценить противоборствующую сторону («Супер!») и проявить заботу о партнере («Я!»). Выиграв мяч, я не заносился; победе радовался сдержанно; скорбно качал головой, когда проигрывал сет. Притворство давалось мне легко, так что круглогодичные Хьюго и Каролины охотно взяли меня под крыло как летнего игрока.

Хьюго наперебой повторяли, что я повысил средний ай-кью теннисного клуба и вместе с тем понизил средний возраст; один упорно говорил мне «Эрудит» и «Герр Профессор», тонко намекая на то, что я окончил первый курс Сассекского университета. Каролины обращались со мной вполне приветливо, хотя и с настороженностью; им было виднее, как держаться в присутствии Хьюго. Это племя выхолащивало мой природный азарт. Я старался как можно техничнее выполнять каждый удар, но не

рвался к победе, а временами даже играл в поддавки. При малозаметном ауте показывал сопернику два больших пальца и выкрикивал «Супер!». Аналогичным образом подачу, где-то на джойм выходившую за линии, я встречал медленным кивком и переходом на другую половину площадки в ожидании следующей подачи. «Славный малый», – сказал как-то про меня один Хьюго другому, а я услышал. Если мне случалось проиграть, то во время финального рукопожатия соперник непременно слышал от меня похвалу в адрес той или иной особенности своей игры. «Подачи в левый угол – все навывлет», – проникновенно говорил я. Не рассчитывая задерживаться в теннисном клубе более чем на пару месяцев, я не хотел раскрываться перед посторонними.

* * *

Примерно через три недели после оформления моего временного членского билета клуб организовал турнир смешанных пар, образованных при помощи жеребьевки. Участники тянули бумажки с именем партнера. Позже мне, помнится, пришло в голову выражение «счастливый жребий»: не зря же так говорится, правда? Моей партнершей оказалась миссис Сьюзен Маклауд – явно не Каролина. По моим прикидкам, ей слегка перевалило за сорок; волосы, стянутые на затылке лентой, открывали уши, но это я заметил не сразу. На корт она вышла в белом теннисном платье с зеленым кантом и зелеными пуговками на груди. Практически одного роста со мной, а во мне, когда я вытягиваюсь в положении лежа и тем самым прибавляю себе пару сантиметров, можно намерить метр семьдесят пять.

- Какую выбираешь? – спросила она.
- В смысле?
- Правую сторону или левую?
- А, простите. На самом деле мне все равно.
- Тогда для начала вставай на правую.

В первом матче – играли по одному сету на вылет – нашими соперниками оказались раскормленный Хьюго и квадратная Каролина. Я носился по площадке, считая своим долгом брать на себя как можно больше мячей, и поначалу, когда оказывался у сетки, оборачивался посмотреть, как справляется моя партнерша и отбит ли мяч. Каждый раз я убеждался, что мяч отбит хорошим ударом с отскока, и вскоре расслабился, перестал вертеть головой и почему-то очень-очень захотел выиграть. Мы победили со счетом 6:2. Когда мы сидели со стаканами лимонно-ячменного

напитка, я сказал:

– Спасибо, что прикрывали мне тыл.

Пару раз я тянулся вдоль сетки, чтобы перехватить мяч, но не успевал и только раздражал миссис Маклауд.

– Обычно говорится: «Хорошая игра, партнер». – У нее были серо-голубые глаза и неугасающая улыбка. – И на подаче попробуй встать чуть ближе к боковой линии. Угол будет острее.

Я кивнул и принял к сведению ее совет, не испытав ни малейшего щелчка по самолюбию, чего было бы не избежать, поступи этот совет от какого-нибудь Хьюго.

– Что-то еще?

– В парной игре самое уязвимое место – середина.

– Благодарю вас, миссис Маклауд.

– Сьюзен.

– Хорошо, что не Каролина, – вырвалось у меня.

Она усмехнулась, как будто точно знала, что имеется в виду. Но возможно ли такое?

– Ваш супруг тоже играет?

– Мой супруг? Мистер СБ? – Она рассмеялась. – Нет. Он признает только гольф. Я считаю, это в высшей степени неспортивно: бить по лежащему мячу. Ты согласен?

Ее ответ содержал такое количество смыслов, что я не сразу въехал, а потому лишь кивнул и хмыкнул себе под нос.

Второй матч оказался труднее – против пары, которая постоянно прерывала игру для неспешного, как при подготовке к свадьбе, обсуждения тактических вопросов. В какой-то момент я воспользовался дешевой уловкой: на подаче миссис Маклауд присел ниже края сетки, чтобы отвлечь принимающего. Пару очков мы таким способом выиграли, но при счете 30:15, заслышав удар подачи, я слишком быстро выпрямился и получил мячом прямо в затылок. Театрально согнувшись, я рухнул под сетку. Кэролайн и Хьюго бросились ко мне, изображая обеспокоенность, а сзади слышался только безудержный смех и совсем уж детское «Переподача?», что, естественно, тут же оспорили наши противники. Этот сет мы вырвали со скрипом – и вышли в полуфинал.

– Партия будет непростая, – предупредила миссис Маклауд. – Совсем другой уровень. Эти игроки уже слегка сдают позиции, но подарков не жди.

Подарков и не случилось. Невзирая на мою суету, нас разгромили. Если я пытался контролировать середину площадки, мяч срезали кроссом; когда закрывал углы, мяч прыгал по линии между квадратами подачи. Мы

взяли всего два гейма, но большего и не заслуживали.

Присев на скамью, мы зачехлили ракетки. У меня была «Данлоп максплей», у нее – «Грей».

– Извините, что подвел вас, – сказал я.

– Никто никого не подвел.

– Очевидно, моя слабая сторона – тактическая наивность.

Допустим, это прозвучало слегка напыщенно, и все равно меня удивили ее смешки.

– Тебе бы расхаживать с кейсом, – выговорила она. – Пожалуй, я буду звать тебя Кейси.

Я улыбнулся. Мне понравилась идея с кейсом.

У развилки дорожек, ведущих к душевым, я спросил:

– Разрешите вас подвезти? Я на машине.

Она посмотрела на меня как-то искоса:

– Ну, не будь у тебя машины, разрешить было бы проблематично. – В ее ответе прозвучало нечто такое, что не позволило мне обидеться. – А как же твоя репутация?

– Моя репутация? – переспросил я. – У меня вроде бы ее нет.

– Неужели? Значит, нам придется ее создать. У каждого молодого человека должна быть хоть какая-то репутация.

* * *

Сейчас, когда я делаю свои записи, в этой реплике сквозит больше пронизательности, чем тогда. Ведь «ничего не произошло». Я высадил миссис Маклауд на Даккерс-лейн, а сам поехал домой и вкратце описал родителям события того дня. Турнир смешанных пар. Жеребьевка.

– Победный четвертьфинал, Пол, – изрекла мама. – Знать бы наперед, я непременно пришла бы за тебя поболеть.

Мне подумалось, что сегодня – и впредь тоже – это было бы совсем некстати.

* * *

Наверное, вы предвосхищаете события, но я вас не виню. Услышав историю нового знакомства, мы привычно помещаем ее в готовую рубрику. Со стороны виднее, где общее место, где банальность, тогда как сами

участники событий видят лишь то, что глубоко лично и могло произойти только с ними. Мы говорим: до чего же предсказуемо; они говорят: как неожиданно! В ту пору, да и много лет спустя при мысли о нас двоих меня вечно преследовала нехватка слов – во всяком случае, уместных – для описания наших отношений. Кстати, это, видимо, распространенная иллюзия: влюбленным свойственно считать, будто их история не укладывается ни в какие рамки и рубрики.

* * *

Моя мама, естественно, не страдала от нехватки слов.

Как уже было сказано, я подвез миссис Маклауд до дома – и ничего не произошло. Такое повторилось еще раз, потом еще. Впрочем, «ничего» можно понимать по-разному. Не было ни прикосновений, ни поцелуев, ни признаний, не говоря уже об интригах и планах. Однако уже тогда, судя по одним лишь нашим позам, еще до того, как миссис Маклауд со смехом бросила мне пару фраз, прежде чем уйти по дорожке к дому, между нами зрел сговор. Заметьте: не сговор о каких-либо действиях. А просто сговор, в силу которого и она, и я в большей степени становились самими собой.

Будь у нас на уме интрига или план, мы бы держались иначе. По всей вероятности, назначали бы тайные встречи, шифровали свои намерения. Но мы были сама невинность, а потому меня поразило, когда мать, нарушив невыносимую скуку домашнего ужина, вдруг спросила:

– Мы теперь подрабатываем частным извозом?

Ответом ей был мой недоуменный взгляд. Мать вечно прижимала меня к стенке. Отец по характеру был мягче и не судил слишком строго. Всегда надеялся, что проблемы рассосутся сами собой, не будил лиха, пока оно тихо, и не гнал волну; мать же, напротив, смотрела правде в глаза и не замечала мусор под ковер. Именно таким набором затертых клише я и характеризовал скрипучую телегу родительского брака в свои бескомпромиссные девятнадцать лет. Впрочем, коль скоро берешься судить, надо признаться, что «скрипучая телега» – тоже затертое клише. Но в студенческие годы я ничего такого не признавал, а потому испепелил мать молчаливой враждебностью.

– Миссис Маклауд того и гляди растолстеет, если ты не оставишь ей возможности ходить пешком, – желчно гнула свое моя мать.

– Она постоянно играет в теннис. – Я изобразил небрежность.

– Миссис Маклауд, – продолжала мама. – Как ее по имени?

– Понятия не имею, – солгал я.
– Ты знаком с Маклаудами, Энди?
– В гольф-клуб ходит некий Маклауд, – сказал отец. – Коротышка, толстяк. По мячу бьет с ненавистью.
– Не пригласить ли нам их на бокал хереса?
От такой перспективы я содрогнулся, но папа ответил:
– Да как-то повода не предвидится.
– Ладно, там видно будет. – Но мать не собиралась отступать. – Мне казалось, у нее велосипед есть.
– Сколько ты всего о ней вдруг знаешь-то! – фыркнул я.
– Ты как со мной разговариваешь, Пол? – Мать залилась краской.
– Оставь парня в покое, Бетс, – беззлобно сказал отец.
– Это *не я* должна оставить его в покое.
– Мамочка, можно, пожалуйста, выйти из-за стола? – заскулил я тоном восьмилетнего мальчика.
Если со мной тут обращались как с ребенком, то...
– А может, и стоит позвать их на бокал хереса.
Я не понял: то ли отец вообще ничего не соображает, то ли причудливо иронизирует.
– И ты придержи язык! – взвилась мать. – Он не от меня нахватался дерзостей.

* * *

Назавтра я опять пошел в теннисный клуб и через день тоже. Без всякого настроения играя микст с двумя Каролинами и одним Хьюго, на корте позади нас я заметил Сьюзен. Пока она была у меня за спиной, все шло обычным порядком. Но когда мы поменялись сторонами и я сквозь пару соперников увидел, как она раскачивается с пятки на носок, готовясь к приему подачи, счет нашей партии тут же перестал меня интересовать.

Потом я предложил ее подвезти.

– Только если ты на машине.

Я промямлил нечто маловразумительное.

– Чтоский, мистер Кейси?

Стоим лицом друг к другу. Мне не по себе – и одновременно легко. На ней все то же теннисное платье, и меня гложет вопрос: эти зеленые пуговицы действительно расстегиваются или нашиты для красоты? Такие женщины мне прежде не встречались. Наши лица – на одном уровне: носы, губы,

уши. Она явно думает о том же.

– На каблуках я бы возвышалась над сеткой, – говорит она. – А так мы на равных: глаза в глаза.

Не могу взять в толк: это с ее стороны уверенность или нервозность, обычная ли это манера или адресованная мне одному. Судя по разговору – флиртует, но тогда я этого не ощущал.

Складной верх своего «моррис-майнора» я опустил. Если, черт побери, я занимаюсь частным извозом, пусть Деревня, будь она трижды проклята, полюбуется на пассажиров. Точнее, на пассажирку.

– Да, кстати, – начинаю я, сбрасывая скорость и переключаясь на вторую передачу. – Мои родители, кажется, хотят пригласить вас с мужем на бокал хереса.

– Силы небесные! – Она зажимает рот ладонью. – Мистера Слоновьи Брюки я никуда с собой не беру.

– Почему вы его так называете?

– Да как-то само собой вышло. Развешивала его одежду, и в глаза бросились эти серые шерстяные брюки, причем несколько пар, широченные, я подняла перед собой одну пару и подумала, что в таких штанах он может изображать на маскараде заднюю часть слона.

– Он бьет по мячу с ненавистью, как говорит мой отец.

– Да, пожалуй. Что еще говорят?

– Мама говорит, что вы располнеете, если я постоянно буду вас подвозить.

Ответа нет. Я торможу возле ее дома и смотрю вдаль. Она сидит с озабоченным, если не мрачным видом.

– Порой я забываю о других. Об их существовании. То есть о посторонних. Прости, Кейси, быть может, мне следовало... ну, не то чтобы... господи...

– Ерунда, – твердо заявляю я. – Вы же сами сказали, что у молодого человека вроде меня должна быть хоть какая-то репутация. Похоже, сейчас у меня репутация таксиста. На лето ее хватит.

Она все еще подавлена. Через некоторое время тихо произносит:

– Прошу, Кейси, не ставь на мне крест.

Да с какой стати, если я по уши втюрился?

* * *

Вообще говоря, какие слова можно подобрать в наше время для

описания отношений между девятнадцатилетним юнцом, еще даже не вполне зрелым мужчиной, и сорокавосемилетней женщиной? В таблоидах мелькают штампы типа «любительница свежатинок» и «карманный мальчик». Но в ту пору этих выражений еще не было, хотя почва для них готовилась заблаговременно. Можно вспомнить и французские романы, в которых немолодые женщины обучают юношей – *о-ля-ля!* – «искусству любви». Однако ничего французского в наших отношениях, да и в нас самих не наблюдалось. Возвращенные Англией, мы использовали только эти морализаторские именованья: блудница, распутница. Но в Сьюзен не было ровным счетом ничего от блудницы, а впервые в жизни услышав слово «распутница», она подумала, что это искаженное «распутица».

Сегодня мы свободно обсуждаем коммерческий секс, рекреационный секс. В прежние времена рекреационного секса не было. То есть, может, и был, только назывался по-другому. В то время, в том месте была любовь, был секс, а порой встречалось их сочетание, иногда неуклюжее, иногда гладкое, у кого-то удачное, у кого-то наоборот.

* * *

Вот мой разговор с родителями (читай: с матерью), типично английский разговор, в котором абзацы враждебности ужимаются до пары фраз.

– Но мне *девятнадцать лет*.

– Вот именно – *всего девятнадцать*.

* * *

Каждый из нас оказался у другого вторым: по сути, мы хранили квазицеломудрие. Я прошел инициацию – обычную смесь уговоров, тревог, суеты и оплошностей – с университетской подружкой в конце первого курса; Сьюзен, которая четверть века была замужем и родила двоих детей, не намного опередила меня в этом плане. Оглядываясь назад, можно сказать, что, будь у нас больше опыта, все могло бы сложиться иначе. Но кто из влюбленных станет оглядываться назад? И вообще, что я подразумевал: «больше опыта в сексе» или «больше опыта в любви»?

Впрочем, не буду опережать события.

* * *

В тот первый день, когда я в белоснежной форме вышел на корт с ракеткой «Данлоп максплей», в тесном помещении клуба устроили чаепитие. Как я понял, «костюмчики» все еще оценивали меня с точки зрения приемлемости. Проверяли, с учетом всех деталей, на степень принадлежности к среднему классу. Кто-то прошелся насчет длины моих волос, прихваченных головной повязкой. И почти сразу вслед за этим мне задали вопрос о политике.

– К сожалению, политика меня даже отдаленно не интересует, – ответил я.

– Значит, ты из консерваторов, – заключил один из членов правления, и мы все посмеялись.

Пересказываю этот разговор Сьюзен: она кивает и говорит:

– Я голосую за лейбористов, но помалкиваю. Вернее, помалкивала до этой минуты. Что вы скажете на сей счет, пернатый мой дружок?^[1]

Отвечаю, что меня это никак не касается.

* * *

Перед моим первым посещением дома Маклаудов Сьюзен велела мне пройти через заднюю калитку и дальше садом; я только приветствовал такое отсутствие церемоний. Калитка оказалась не заперта; я ступил на мощенную кирпичом хлипкую дорожку, миновал компостные кучи и бочки листовенного перегноя, глиняный горшок с раскидистым кустом ревеня, квартет кудрявых яблонь и огородные грядки. Расхристанный старикашка-садовник перекапывал квадратный клочок земли. Я одобрительно кивнул, как уверенный в себе начинающий ученый – земледельцу. Тот кивнул мне в ответ.

Сьюзен поставила чайник; тем временем я огляделся. Дом почти не отличался от нашего, только в нем присутствовал некий шик; а если конкретно – старинные вещи, судя по всему, перешли сюда не из комиссионного магазина, а по наследству. Торшеры желтели пергаментными абажурами. Во всем сквозила не то чтобы неряшливость, а какая-то беззаботность. В коридоре лежала сумка с клюшками для гольфа; после обеда, если не со вчерашнего вечера, осталась пара бокалов. У нас в доме порядок соблюдался неукоснительно. Там без конца расставляли что-

то по местам, орудовали щеткой, мыли, наводили глянец, чтобы не стыдно было перед неожиданными гостями. Но кто мог нагрять к нам в гости? Викарий? Местный полицейский? Сосед, которому потребовалось сделать телефонный звонок? Коммивояжер со своим товаром? На самом деле без приглашения не заходил никто, а потому беспрестанная уборка и протирка виделись мне безнадежным пережитком прошлого. А сюда явно заходили визитеры вроде меня, и при этом, как наверняка заметила бы моя мать, дом выглядел запущенным, словно тут две недели не вытирали пыль.

– Какой у вас работающий садовник. – Я не придумал ничего лучше, чтобы начать беседу.

Уставившись на меня, Сьюзен хохочет.

– Садовник? Это, между прочим, сам хозяин! Его светлость.

– Прошу меня извинить. Пожалуйста, не говорите ему. Мне показалось...

– Ничего-ничего. Я рада, что он так органично смотрится. Как образцовый садовник. Ветхий Адам. – Она протягивает мне чашку чая. – Молоко? Сахар?

* * *

Надеюсь, вы понимаете, что я рассказываю так, как запомнил? Дневников я никогда не вел, а почти все действующие лица моей истории – да что там истории! моей жизни! – либо уже сошли в могилу, либо разбросаны по свету. Факты не обязательно излагаются у меня в хронологической последовательности. По-моему, память блюдет особого рода достоверность, ничуть не уступающую реальности. Производя отбор и отсеив, память угождает воспоминающему. Есть ли у нас доступ к алгоритму ее приоритетов? Наверное, нет. Однако рискну предположить, что память расставляет приоритеты так, чтобы удержать на плаву своего хранителя. А у него имеется собственный интерес: в первую очередь выталкивать на поверхность наиболее счастливые воспоминания. Но опять же, это лишь мои домыслы.

* * *

Например, я помню, как однажды ночью лежал без сна из-за мощной

эрекции, которая, по мнению безрассудной или безалаберной юности, дается мужчине на всю жизнь. Но тут – случай особый. Понимаете, эрекция была, так сказать, обобщенной, не спровоцированной ни кем-либо из знакомых, ни сновидением, ни фантазией. Она родилась из праздника молодости. Молодости ума, сердца, пениса, души – просто вышло так, что пенис наиболее четко выразил это обобщенное состояние.

* * *

Мне кажется, в юности мы едва ли не все время думаем, но почти не размышляем о сексе. Одержимые вопросами «с кем», «где», «когда», «как», а еще чаще – одним большим «если», мы упускаем из виду все «почему» и «до какого предела». Еще не имея опыта, мы уже знакомимся с сексом понаслышке, причем в наши дни это знакомство происходит гораздо раньше, чем прежде, неся с собой более зримые и обширные сведения. Но подпитывается оно все той же мешаниной из сентиментальности, вранья и порнографии. Сегодня мое отрочество видится мне сплошным буйством пениса, которое даже не позволяло разглядеть объект желаний.

Быть может, я разучился понимать молодых. Мне бы хотелось выяснить, как обстоит дело с этим вопросом у нынешних ребят и их друзей, но приставать с расспросами неловко. Наверно, я и в молодости не понимал молодежь. Такое тоже случается.

* * *

Но если хотите знать, я не завидую молодым. Бывало, в приступе отроческой ярости и дерзости у меня возникал вопрос: зачем еще нужны старики, как не для того, чтобы завидовать юности? В этом виделась мне их основная пожизненная миссия, за которой – только вымирание. Как-то вечером, отправившись встречать Сьюзен, я дошел до пешеходного перехода в нашей Деревне, и, невзирая на приближение автомобиля, что-то толкнуло меня на проезжую часть. Взвизгнули тормоза; водитель меня обсигналил. Я прирос к месту прямо у капота и уставился на водителя. Надо признаться, выглядел я вызывающе: патлатый, в лиловых джинсах – и молодой; гнусный, омерзительный юнец. Опустив стекло, водитель обложил меня матом. Я ухмыльнулся и подошел вплотную, готовый к стычке. Но оказалось, он уже в возрасте: гнусный, омерзительный старик с

дурацкими красными ушами. Вы ведь знаете, правда, такие уши: мясистые, волосатые? Внутри ушной раковины толстая щетина, снаружи – тонкий подшерсток.

– Ты подохнешь раньше меня, – сообщил я и вразвалочку пошел прочь, стараясь разозлить старика еще сильнее.

Нынче, в зрелые годы, я вижу одно из своих человеческих предназначений в том, чтобы создавать у молодых иллюзию, будто я им завидую. Нет, в каком-то смысле я действительно им завидую, потому что, грубо говоря, подохну раньше, но в других отношениях – нисколько. И при виде влюбленных парочек, вертикально переплетенных где-нибудь на углу или горизонтально переплетенных в скверике, на расстеленном одеяле, мне больше всего хочется их защитить. Не пожалеть, а именно защитить. Хотя они вовсе не нуждаются в моей защите. И все же (вот курьез) чем более демонстративно их поведение, тем сильнее мой душевный отклик. Мне хочется защитить этих ребят от напастей, которые, по всей вероятности, готовит для них этот мир, а также от тех, что они, по всей вероятности, навлекут друг на друга сами. Но такой возможности я, конечно, не имею. Моя забота никому не нужна, а их самоуверенность граничит с безумием.

* * *

Я даже гордился тем, что завел роман – видимо, наиболее одиозный, с родительской точки зрения, из всех возможных. У меня нет желания – особенно на этой поздней стадии – выставлять родителей таким жупелом. Их чета была продуктом своего времени, возраста, социальной среды и генофонда – точно так же, как и я сам. Они не сидели без дела, не опускались до лжи и своему единственному чаду желали только добра. Те недостатки, которые я у них находил, в другом ракурсе представляли достоинствами. Но в ту пору...

– Привет, мам, пап, должен вам кое-что сказать. Если честно, я голубой, как вы, наверно, уже догадались, и через неделю улетаю на отдых вдвоем с Педро. Да, мама, это тот самый Педро из нашей Деревни, твой парикмахер. В общем, он поинтересовался моими планами, а я спросил: «Какие будут предложения?» – и пошло-поехало. Мы с ним летим в Грецию, на остров.

Представляю, как были бы убиты мои родители, которых всегда тревожила людская молва, как они замкнулись бы на время в четырех стенах, чтобы за закрытыми дверями обсудить этот болезненный вопрос и

обрисовать для меня грядущие сложности, а по сути дела – отражения их собственного смятения чувств. Но потом, решив, что времена меняются, они бы героически приспособились к такому неожиданному повороту событий, и мама только задалась бы вопросом: прилично ли будет ей и впредь записываться на стрижку к Педро, и в конце концов – самое ненавистное – наградила бы себя почетным знаком за новообретенную терпимость и одновременно вознесла бы хвалу Господу (в которого не верила) за то, что ее бедный отец не дожил до этого дня...

Да, все бы как-то устаканилось, пусть и не вдруг. Равно как и в том случае, если бы события развивались по иному сценарию, не сходявшему тогда с газетных полос.

– Привет, родители, это Синди, моя девушка, и даже, как вы сами видите, более того: через пару месяцев она станет мамочкой. Да вы не волнуйтесь, у нас это произошло за воротами школы, и Синди уже достигла возраста согласия, но времечко тикает, так что не откладывайте знакомство с ее родителями и срочно закажите для нас регистрацию.

Да, они бы и с этим справились. Но, как уже сказано выше, мои отец и мать лелеяли совсем другой сценарий: чтобы в теннисном клубе я познакомился с безропотной милашкой Кристиной или Вирджинией и чтобы за нашим знакомством последовали традиционная помолвка, традиционное венчание и традиционный медовый месяц, ведущий к традиционному продолжению рода. Но вместо этого я, отправившись в теннисный клуб, подцепил там миссис Сьюзен Маклауд, замужнюю даму, прихожанку местной церкви, мать двух взрослых (старше меня) дочерей. И по причине этой глупой детской влюбленности ничто в нашем доме не обещало помолвки, венчания, а тем более топота детских ножек. Ожидать следовало только неловкости, унижений, позора, чопорных соседских взглядов и тонких намеков на растление малолетних.

Вот так я создал для родителей ситуацию, выходящую столь далеко за пределы допустимого, что ее невозможно было даже признать – не то что разумно обсудить. И мамина первоначальная идея позвать чету Маклауд на бокал хереса увяла сама собой.

* * *

Заморочки с родителями. От них не были избавлены и мои университетские друзья: Эрик, Барни, Иэн и Сэм – предки доставали всех, но по-разному. Надо сказать, что мы отнюдь не были наркотами-хиппарями

в лохматых дубленках. Мы были нормальными – в той или иной степени – парнями из приличных семей, обреченными на непростое взросление. Мы делились своими историями, в большинстве случаев будто бы написанными под копирку, но Барни давал остальным сто очков вперед. Не в последнюю очередь потому, что с родителями он совершенно не церемонился.

– Так вот, – начал Барни, когда мы, встретившись после каникул, обменивались мрачными впечатлениями о жизни в родительском доме. – Торчу я, значит, уже три недели у предков в Пиннере и как-то раз смотрю на часы – десять утра, а меня даже не тянет вылезти из постели. Прикиньте: чего ради? И вдруг слышу: дверь спальни отворяется и входят мать с отцом. Присаживаются у меня в ногах, и мамаша интересуется: мол, известно ли мне, который час.

– Почему они себе позволяют входить без стука? – возмутился Сэм. – А вдруг ты там дронишь?

– Ну, я, естественно, говорю: по моим расчетам, должно быть утро. Они начинают выпрашивать, какие у меня планы на текущий день, а я отвечаю, что до завтрака ничего не могу сказать на сей счет. У папаши начинается сухой кашель – верный признак закипания. И что я слышу: родная мать советует мне использовать каникулы с толком, дабы заработать на карманные расходы. Пришлось разъяснить, что в мои планы уж всяко не входит унижительный ручной труд.

– Неплохо, Барни, – хором сказали мы.

– И тут мамаша спрашивает, не собираюсь ли я бездельничать всю свою жизнь. Ну, вы же понимаете, я начинаю раздражаться – в этом мы схожи с отцом – и медленно закипаю, но хотя бы не выдаю этого предупредительным кашлем. Короче, отец психует, вскакивает, раздвигает шторы и орет: «Ты как себя ведешь? Здесь тебе не какая-нибудь паршивая ночлежка!»

– Это старо. Все мы нечто подобное слышали. И что ты ему ответил?

– Я ему ответил так: «В паршивой ночлежке паршивые хозяева не посмели бы врываться ко мне в десять утра и плюхаться на кровать, чтобы выносить мне мозг».

– Ну, Барни, ты даешь!

– Я счел, что это провокационные действия.

– Ну, Барни, ты даешь!

Итак, семейство Маклауд включало Сьюзен, мистера СБ и двух дочерей, обучавшихся в каком-то университете: мы называли их мисс Б. и мисс НТ. Хозяйство вела старуха-экономка миссис Дайер, которая приходила два раза в неделю. Подслеповатая во всем, что касалось наведения чистоты, она обнаруживала удивительную зоркость, когда поворовывала молоко и овощи. А кто еще бывал в этом доме? Никакие визитеры даже не упоминались. По выходным Маклауд играл в гольф; Сьюзен посещала теннисный клуб. Приходя к ним на ужин, я никогда не заставал там гостей. На мой вопрос, с кем они общаются, Сьюзен ответила как никогда сухо:

– У девочек есть подруги – иногда они к нам заезжают.

Нельзя сказать, что это был ответ по существу. Зато примерно через неделю Сьюзен заявила, что мы должны провести Джоан.

– Ты поведешь, – распорядилась она, передавая мне ключи от «остина» Маклаудов.

Это выглядело как повышение в должности, и я уделил особое внимание плавному переключению скоростей.

Джоан, жившая милях в трех от Деревни, приходилась сестрой (единственной оставшейся в живых родственницей) Джеральду, который много лет назад был влюблен в Сьюзен, но, к несчастью для всех, скоропостижно умер от лейкемии. Целиком посвятив себя их с Джеральдом отцу, Джоан заботилась о старике до его последнего вздоха и не устроила свою судьбу; она держала собак и после обеда привычно выпивала стаканчик-другой джина.

Мы остановились у невысокого фахверкового дома, спрятанного за грядой буковых деревьев. Джоан, попыхивая сигаретой, отворила дверь, обняла Сьюзен и с любопытством воззрилась на меня.

– Молодого человека зовут Пол. Сегодня он за рулем. Мне надо будет проверить зрение – думаю, пора заказать новые очки. Мы познакомились в теннисном клубе.

Джоан покивала:

– Все, больше не буду глазеть.

Женщина крупного телосложения, она встретила нас в нежно-голубом брючном костюме; волосы у нее были уложены тугими буклями, на губах темнела коричневая помада, а на носу белели, так сказать, островки пудры.

Проводив нас в гостиную, она рухнула в кресло с ножной скамеечкой. Джоан была лет на пять старше Сьюзен, но мне казалось, их разделяет целое поколение. На одном подлокотнике обложкой кверху лежал сборник кроссвордов, на другом разместились латунная пепельница, закрепленная

кожаным ремнем с потайными грузиками. Пепельница была полна до краев.

Не успев занять свое кресло, Джоан тут же вскочила:

– Давай по чуть-чуть?

– Слишком рано, дорогуша.

– Но ты же не за рулем, – обиделась Джоан и перевела взгляд на меня. – Выпьете, юноша?

– Спасибо, нет.

– Ну, как знаете. А ты хотя бы затынись пару раз.

К моему удивлению, Сьюзен взяла сигарету и закурила. Я сделал вывод, что в этой дружбе издавна установилась определенная иерархия: Джоан главенствовала, а Сьюзен не то чтобы подчинялась, но прислушивалась. Джоан завела монолог о том, как протекала ее жизнь с момента их последней встречи; я бы сказал, основное место занимали в нем перечисления мелких неурядиц, получивших триумфальное разрешение, рассказы о собаках и о партиях в бридж, но под занавес мы услышали сногшибательную новость: на днях Джоан обнаружила в десяти милях от дома некую лавку, где ее любимый джин продавался на пару пенсов дешевле, чем в Деревне.

Изнывая от скуки, неодобрительно косясь на сигарету, которую с видимым удовольствием курила Сьюзен, я невольно выпалил:

– А вы учли, насколько больше бензина израсходовали?

Как будто моими устами заговорила мать.

Джоан взглянула на меня с интересом, в котором сквозило одобрение:

– Как, скажи на милость, я могла это учесть?

– Ну, вы же знаете, какой у вашего автомобиля расход горючего?

– Конечно знаю. – Джоан ответила так, будто незнание этого факта отдавало непростительным мотовством. – В ближних поездках мне галлона хватает на двадцать восемь миль, а если в дальних, то примерно на тридцать.

– И сколько вы платите за бензин?

– Смотря где заправляюсь, разве это не очевидно?

– Ага! – воскликнул я, изображая еще более живой интерес. – Еще одна переменная величина. У вас, случайно, нет карманного калькулятора?

– У меня есть отвертка, – засмеялась Джоан.

– А листок бумаги и карандаш найдутся?

Она принесла то, что я просил, и села рядом на диван, обдав меня табачным запахом.

– Хочу видеть процесс.

– Итак: сколько у нас магазинов и сколько бензоколонок? – начал я. – Мне нужны точные сведения.

– Ни дать ни взять упырь из налоговой! – Джоан зашлась хохотом и ткнула меня в плечо.

Я записал цены, местоположения и расстояния, зафиксировал один случай мнимой экономии средств, а потом выдал два оптимальных варианта.

– Конечно, – оживленно добавил я, – выгода будет еще более ощутимой, если ходить в Деревню пешком, а не ездить на машине.

Джоан издала притворный крик ужаса.

– Мне вредно ходить пешком! – Взяв листок с моими расчетами, она вернулась в кресло, закурила очередную сигарету и обратилась к Сьюзен: – Теперь я понимаю, сколько пользы от этого юноши.

На обратном пути Сьюзен сказала:

– Кейси-Пол, а ты, как я погляжу, хитер. Она же буквально тебе в рот смотрела.

– Всегда рад помочь богатым сэкономить, – ответил я, с осторожностью переключая скорость. – Я весь твой.

– Ты действительно весь мой, – согласилась она, подсовывая ладонь под мою левую ляжку.

– Да, кстати, что у тебя с глазами?

– С глазами? Насколько я знаю, все в порядке.

– Но ты сама сказала, что должна проверить зрение?

– Ах вот ты о чем! Я вынуждена как-то оправдывать твое присутствие.

Ну да, понятно.

Значит, я позиционировался как «молодой человек, который сегодня за рулем» и «знакомый по теннисному клубу», а потом мог рассчитывать на звание «друга Марты» и – что наименее вероятно – «протееже Гордона».

* * *

Не могу вспомнить наш первый поцелуй. Странно, правда? Хорошо помню счет 6:2; 7:5; 2:6. Во всех неаппетитных деталях помню уши того старого автомобилиста. Но напрочь забыл, когда и где мы впервые поцеловались и кто из нас сделал первый шаг; быть может, мы оба, одновременно? Или же никаких шагов не было, а просто само так вышло? Случилось ли это в автомобиле или у нее дома, утром, днем или вечером? В какую погоду? Ну, *таких* подробностей от меня требовать, конечно,

нельзя.

Могу сказать одно: по сегодняшним меркам первый поцелуй случился очень не скоро, а после этого минуло еще больше времени, прежде чем мы с ней оказались в постели. Между этими двумя событиями я отвез ее в Лондон, чтобы приобрести контрацептивы. Не для меня, а для нее. Мы поехали в «Джон Белл энд Кройден» на Уигмор-стрит. Я припарковался за углом. Дальше Сьюзен пошла одна и вернулась с грубым бумажным пакетом, в котором лежали колпачок и тюбик какого-то противозачаточного геля.

– Хотелось бы знать, там инструкция приложена? – беззаботно сказала она. – А то я давно отвыкла.

Пребывая в торжественном возбуждении, я не сразу сообразил, о чем она говорит: о сексе или же об использовании колпачка.

– Доверься мне, – изрек я, чтобы охватить оба варианта одной фразой.

– Пол, – сказала Сьюзен, – есть вещи, которые мужчине лучше не видеть. Даже мысленно.

– Согласен. – (Значит, имелся в виду второй вариант.) – Где ты собираешься это хранить? – спросил я, ужасаясь от возможности разоблачения.

– Ну, где-то, где-то, – отвечает она.

Стало быть, мне лучше не соваться.

– Не ожидай от меня слишком многого, Кейси, – торопливо продолжает она. – Кейси. Кей-Си. Сокращенно – вокзал «Кингз-Кросс». Ты же не бросишь меня на рельсы, злодей? Не будешь сердиться и язвить, правда?

Я тянусь к ней для поцелуя на виду у пешеходов – возможно, заинтересованных лиц, шатающихся по Уимпол-стрит.

Мне уже известно, что они с мужем спят врозь, даже в отдельных комнатах. Супружеских отношений – точнее, секса – у них не было почти два десятка лет, но о причинах и подробностях я не спрашиваю. С одной стороны, мне безумно любопытно, как у других пар – не у всех подряд, конечно, – складываются интимные отношения в прошлом, настоящем и будущем. С другой стороны, когда я рядом с ней, мне не хочется вызывать в уме лишние образы.

У меня возникают вопросы: зачем ей в возрасте сорока восьми лет нужно предохраняться, неужели у нее продолжают месячные и не настало, как она выражается, «Самое Неприятное»? Но я горд, что оно не настало. Все это не имеет никакого отношения к вероятной беременности, которая бесконечно далека от моих мыслей и желаний: это имеет

отношение только к ее женскому началу. Чуть не сказал «девическому», но это, наверно, было бы чересчур. Да, она старше, да, она лучше знает жизнь. Но с позиций – как бы поточнее выразиться? – возраста ее души мы с нею почти на равных.

* * *

– Я и не знал, – говорю ей, – что ты куришь.

– По одной штучке, и то нечасто. За компанию с Джоан. Или когда выхожу в сад. Ты меня осуждаешь?

– Нет, просто не ожидал. Я тебя не осуждаю. Просто мне кажется...

– Глупость какая. Ну да. Могу стащить у него сигарету, когда становится невмоготу. Ты не замечал, как он курит? Щелкает зажигалкой и сразу начинает пыхтеть, словно это вопрос жизни и смерти. Докурит до половины – и тут же брезгливо затушит. И эта брезгливая мина сохраняется, пока он снова не закурит. Минут через пять.

– Да, я заметил, но не придавал этому значения.

– А пьет еще противнее.

– Но ты сама не пьешь?

– Терпеть не могу алкоголь. Максимум, что я себе позволяю, – это рюмочку хереса под Рождество, просто чтобы не прослыть занудой. От спиртного люди меняются. Причем не в лучшую сторону.

Я не спорю. Горячительные напитки меня не интересуют, равно как и люди, которые стремятся «поднять себе настроение», «освежиться», «надраться» и так далее, то есть возвыситься в собственных глазах. И мистер СБ никак не мог служить образцовым потребителем спиртного. Перед ужином он, по словам Сьюзен, сидел за столом в окружении своих «баллонов и галлонов», то и дело наполняя высокую пивную кружку трясущейся все сильнее рукой. При этом он ставил перед собой вторую кружку, доверху наполненную закуской – зеленым луком. Через некоторое время он жеманно прикрывал рот ладонью, чтобы скрыть сдавленную отрыжку. После этого рассказа я чуть ли не на всю жизнь возненавидел зеленый лук. Да и к пиву остался более чем равнодушен.

* * *

– Знаешь, на днях мне пришло в голову, что я уже много лет не вижу

его глаза. Именно так. Много лет. Странно, правда? Они вечно спрятаны за стеклами очков. А когда он снимает очки, меня, естественно, рядом нет. Да мне и неохота встречать его взгляд. С меня хватило. Думаю, у большинства женщин происходит то же самое.

В таком духе она рассказывает о себе: туманно, с двусмысленностями, не требующими ответной реакции. Случается, одно наблюдение переходит в другое; случается, она бросает какое-то обрывочное утверждение, словно преподает мне житейские истины.

– Ты должен усвоить одно, Пол: наше поколение – это отработанный материал.

Меня разбирает смех. Не сказал бы, что мои родители – отработанный материал: авторитет, деньги, уверенность – все при них. Жаль, конечно, что дело обстояло именно так... Родители, по всем меркам, перекрывали мне путь к взрослой жизни. Как там больничный персонал называет тех, кто понапрасну занимает койко-места... балласт. Они, скорее, были духовным балластом.

Я прошу ее пояснить.

– По нашим судьбам прокатилась война, – говорит Сьюзен. – И многого нас лишила. Теперь от нас толку мало. Нужно дать дорогу таким, как ты. Посмотри на наших политических деятелей.

– Ты предлагаешь мне уйти в политику? – Я не верю своим ушам.

Политиков я презираю: в моих глазах это самовлюбленные негодяи, ловкачи. Ни с одним из них я, конечно же, не был знаком лично.

– Из-за того, что люди твоего склада не идут в политику, мы и прозябаем в болоте, – настаивает Сьюзен.

И вновь я озадачен. Мне даже непонятно, что представляют собой «люди моего склада». Среди моих школьных и университетских приятелей считалось делом чести отгораживаться от тех вопросов, которые постоянно мустируют политики. А вдобавок их великие тревоги – советская угроза, распад империи, налоговое бремя, наследственные пошлыны, жилищный кризис, влияние профсоюзов – еще и пережевывались, что ни вечер, у семейного камина.

Мои родители обожали смотреть мыльные оперы, но от сатирических программ испытывали неловкость. В Деревне было не купить журнал «Прайвит Ай», но я, приезжая на каникулы, всякий раз привозил из университета кипу свежих номеров и вызывающе разбрасывал по всему дому. Помнится, к обложке одного номера капелькой клея крепился конверт с грампластинкой на тридцать три оборота в минуту. А под ним обнаруживалось фото сидящего на унитаза мужчины со спущенными

брюками и трусами; срам прикрывали только края рубашки. При помощи фотомонтажа голову этого анонимного бесстыдника заменили портретом премьер-министра, сэра Алека Дуглас-Хьюма, у которого изо рта вылетала фраза: «Срочно верните пластинку на место!» Мне это казалось верхом остроумия, но мать, которой я показал тот коллаж, сочла его ребячеством и пошлостью.

Затем я показал его Сьюзен, и та согнулась от смеха. Единным махом удалось расставить по местам все: меня, маму, политику, Сьюзен.

Смеяться над жизнью – неотъемлемая черта ее характера. Этим Сьюзен и отличается от других представителей отработанного поколения. Ее смешит то же самое, что и меня. А еще она смеется, когда попадает мне в затылок теннисным мячом и когда слышит о грядущем знакомстве с моими родителями за бокалом хереса; она смеется над мужем, точно так же как над скрежетом тормозных колодок «остина». Я, естественно, убежден: она потому смеется над жизнью, что многое повидала и досконально знает эту самую жизнь.

– Кстати, – говорю я, – кто такой «Чтоский»? Как это понимать?

– А, ты имеешь в виду «Чтоский и Ктоский»?

– Возможно.

– Так говорят друг другу русские шпионы, глупыш, – отвечает она.

* * *

На первом нашем свидании – я имею в виду любовное свидание – мы наговорили друг другу с три короба неизбежной лжи, а потом уехали подальше в Гемпшир и сняли отдельные номера в какой-то гостинице.

Стоим, разглядываем необъятное пурпурное покрывало с ворсом; она говорит:

– Какую выбираешь? Правую сторону или левую?

Двухспальная кровать для меня внове. Спать всю ночь с кем-то вместе для меня внове. Кровать поражает своими размерами, освещение тусклое, из ванной комнаты несет дезинфекцией.

– Я тебя люблю, – шепчу я.

– Что ты такое говоришь! – возмущется она и берет меня под руку. – Сперва полагается девушку поужинать, а уж потом любить.

У меня уже возникла эрекция, причем отнюдь не обобщенная. А очень и очень конкретная.

Сьюзен застенчива. Никогда не раздевается в моем присутствии, а

когда я захожу в спальню, она уже лежит в постели, облачившись в ночную сорочку. Всегда при погашенном свете. Меня эти детали нисколько не напрягают. Да и все равно мне кажется, будто во тьме я вижу как днем.

* * *

Ничуть не больше напрягает и то, что она не обучает меня, как пишут в романах, «искусству любви». Как я уже сказал, мы оба неопытны. А она принадлежит к тому поколению, которое убеждено, что в первую брачную ночь мужчина «сам знает, что нужно делать», – так общество оправдывает любые, даже самые грязные добрачные связи мужчин. В том, что касается Сьюзен, я воздержусь от подробностей, хотя изредка она бросает отдельные намеки.

Однажды в послеобеденный час лежим мы в постели у нее дома, и я порываюсь уйти до прихода Кое-Кого.

– Правильно, – задумчиво тянет Сьюзен. – Вообрази: в студенческие годы ему нравилась передняя часть маскарадного слона, если ты меня понимаешь. Да и впоследствии, наверно, тоже. Как знать? У каждого есть своя тайна, верно?

– А у тебя какая?

– У меня? Ну, он мне повторял, что я фригидна. Правда, уже потом. Когда ничего было не исправить.

– Не знаю, по мне – ты далеко не фригидна, – говорю я с возмущением собственника. – По мне – ты очень даже... горячая.

Вместо ответа она гладит меня по груди. Я плохо понимаю, в чем заключается женский оргазм, и почему-то убежден, что сама продолжительность акта в какой-то момент автоматически взрывает женщину. Происходит нечто похожее на преодоление звукового барьера.

Не в состоянии продолжать дискуссию, начинаю одеваться. Потом говорю себе: «Она теплая, нежная, она меня любит, сама зовет в постель, нас хватает надолго, по мне – она вовсе не фригидна, о чем тут говорить?»

* * *

Мы обсуждаем все на свете: в каком состоянии пребывает этот мир (хуже некуда), в каком состоянии находится ее брак (хуже некуда), каковы общие черты и нравственные ценности Деревни (хуже некуда) и, наконец,

какова природа смерти (хуже некуда).

– Не странно ли? – размышляет она. – Моя мать умерла от рака, когда мне было всего десять лет, и я о ней думаю лишь за стрижкой ногтей на ногах.

– А о себе?

– Чтоский?

– О себе – как ты будешь умирать.

На короткое время она умолкает.

– Смерть меня не страшит. Просто обидно будет не увидеть дальнейшего.

Чего-то я недопонял.

– Ты имеешь в виду загробный мир?

– Ну нет, ни во что подобное я не верю, – твердо отвечает она. – Зачем такие неприятности? Люди, которые при жизни старались держаться друг от друга подальше, вдруг оказываются вместе, как за ненавистной партией в бридж.

– Не знал, что ты играешь в бридж.

– Я не играю. Разве в этом дело, Пол? Вообрази: все эти люди, которые делали тебе гадости, опять замаячат у тебя перед глазами.

Тут я делаю паузу; ее заполняет Сьюзен.

– У меня был дядюшка, дядя Хамф. От Хамфри. Меня отправляли погостить к нему и тете Флоренс. После смерти мамы, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать. Тетя уложила меня спать, поцеловала на ночь, поправила одеяло, выключила свет. И как только я начала засыпать, край кровати просел под какой-то тяжестью: это дядя Хамф, воняющий сигарами и бренди, тоже пришел за поцелуем на ночь. А в следующий раз осведомился: «Знаешь, что такое французский поцелуй?» – и не успела я ответить, как его мерзкий язык оказался у меня во рту и забился там, как рыба. Надо было прямо тогда его откусить. Так продолжалось каждое лето, пока мне не исполнилось шестнадцать. Нет, я понимаю, что бывает и хуже, но, вероятно, именно после этого я и стала фригидной.

– Не наговаривай на себя, – упорствую я. – А этому гаду одна дорога – в пекло. Если на свете есть хоть какая-то справедливость.

– Справедливости нет, – отвечает она. – Ее не существует ни здесь, ни в других пределах. А загробный мир – это, видимо, невероятных размеров бридж-клуб, где дядя Хамф объявляет шесть без козырей, берет все взятки и требует себе в награду французский поцелуй.

– Ты, как видно, глубоко вникла в эту область, – поддразниваю я.

– Дело вот в чем, Кейси-Пол: если хоть в каком-нибудь из миров такой

человек останется в живых, это будет кошмар, суший кошмар. А чего мы не пожелаем своему врагу, того едва ли можем хотеть для себя.

* * *

Не знаю, когда у меня появилась эта привычка – вне сомнения, где-то на раннем этапе – сжимать ей запястья. Возможно, поначалу это было как игра: проверить, смогу ли я обхватить их большим и средним пальцем. Но я делал это все чаще. Она протягивает ко мне кулачки, говоря: «Стисни мне запястья, Пол». Я обхватываю их разом и сжимаю что есть мочи. Смысл такого касания не требовал слов. Этот жест ее успокаивал, передавал нечто от меня к ней. Вливание, перекачивание силы. И любви.

Мое отношение к нашей любви было на удивление бескомпромиссным – подозреваю, впрочем, что первая любовь бескомпромиссна всегда. Я просто говорил себе: что ж, если наша любовь утвердилась как данность, значит вокруг нее должна строиться вся оставшаяся жизнь. У меня не было ни малейшего сомнения, что так и будет.

Из школьной программы по литературе я запомнил, что Страсть расцветает там, где есть Преодоление; но когда сам впервые испытал это чувство, известное прежде только по книгам, всякие препятствия стали казаться не просто лишними, но и совершенно нежелательными. Однако я был чересчур наивен в эмоциональном отношении, а быть может, и попросту не замечал тех препятствий, которые отчетливо виделись другим.

Возможно также, что я не сделал для себя никаких выводов из прочитанного. Скорее всего, на практике моя мысль работала так: сейчас мы, двое, находимся вот здесь, а должны во что бы то ни стало прийти вот туда. И хотя мы в конце концов оказались примерно там, где я мечтал, мне даже в голову не приходило, какая цена будет за это заплачена.

* * *

Я уже говорил, что не помню, какая стояла погода. А также как я был одет, что ел. В ту пору одежда казалась побочной необходимостью, а пища – всего лишь топливом.

Забылось даже то, что, по идее, должно остаться в памяти: например, цвет универсала Маклаудов. Кажется, автомобиль у них был двухцветный. То ли серый с зеленым, то ли голубоватый с бежевым. В самом деле,

проведя не один знаменательный час на его кожаных сиденьях, я затрудняюсь вспомнить оттенки. А из чего была передняя панель – из ореха? Да какая, в сущности, разница? Для моей памяти определенно разницы нет, а моим проводником здесь служит именно память.

Кроме того, есть сведения, на которые я попросту не хочу сейчас отвлекаться. Например: какие предметы я изучал в университете, как выглядела моя комната в общежитии, чем Эрик отличался от Барни, а Иэн от Сэма и у кого из них была рыжая шевелюра. Скажу только, что Эрик на долгие годы остался мне самым близким другом; с окружающими он всегда был мягок, предупредителен, доверчив. И вместе с тем – а возможно, в силу этих самых качеств – в нашей компании у него возникало больше всех проблем с девушками, а впоследствии – с женщинами. Неужели в его мягкости и незлобивости таилось нечто такое, что провоцировало низость окружающих? Хотелось бы найти ответ на этот вопрос, тем более что в ту пору я и сам Эрика сильно подвел. Ушел в сторону, когда ему требовалась моя помощь; можно сказать, предал. Но об этом потом.

И еще кое-что. Описывая Деревню с позиций агента по недвижимости, я мог допустить отдельные неточности. Взять, к примеру, желтые мигающие шары у пешеходного перехода. Вполне возможно, что я прибавил их от себя, поскольку сегодня почти у каждой «зебры» услужливо светит пара таких маячков. Но тогда в графстве Суррей, да еще на дороге, которую не назовешь оживленной... очень сомнительно. Можно, наверное, устроить проверку на подлинность: сходить в центральную библиотеку, разыскать там старые открытки, а то и порыться в личных архивах, куда я изредка добавляю один-два снимка, и соответствующим образом подкорректировать свой рассказ. Но я же не реконструирую прошлое, а только вспоминаю. Так что существенную правку вносить не хочется. Может статься, вы ожидаете большего. Может статься, вы привыкли к большему. Ничем не могу помочь. Я не пытаюсь закрутить сюжет; я пытаюсь рассказать правду.

* * *

Вспоминаю, как Сьюзен играла в теннис. Моя собственная игра – по моему, об этом сказано выше – была по преимуществу любительской, я полагался на хлесткие удары запястьем, не уделял должного внимания положению корпуса и в последний миг умышленно менял направление удара, отчего сам обалдевал не меньше, чем мой соперник.

Когда же я играл против Сьюзен, эти ленивые тактические приемы зачастую ослабляли мой неумный азарт. Ее манера игры базировалась на солидной подготовке: Сьюзен тщательно обрабатывала каждый удар с отскока, выходила к сетке лишь в случае крайней необходимости, бегала так, что только пятки сверкали, и в равной степени смешливо реагировала на победы и поражения. Таковы были мои первые впечатления от ее игры, и я, недолго думая, распространил их на ее характер. Мне представлялось, что она и в жизни спокойна, организована и надежна, играет глубоко и на задней линии неукоснительно обеспечивает поддержку своему нервному, импульсивному партнеру, когда тот играет у сетки.

На летних клубных соревнованиях мы с ней заявили на турнир смешанных пар. В первом круге за нашей игрой против какого-то старичья лет пятидесяти с лишним наблюдали трое зрителей. Среди них, к моему удивлению, оказалась Джоан. Когда мы менялись сторонами и она исчезала из поля зрения, до меня все равно доносился ее кашель курильщицы. Старичье загоняло нас до полусмерти, играя так, как и подобает супружеской паре: они инстинктивно предугадывали все тактические ходы друг друга и обходились без слов, а уж тем более без выкриков. Сьюзен, как всегда, играла солидно, а я по-дурацки мельтешил. Самонадеянно перехватывал мячи, отбивал те, которые следовало пропустить, и элементарно впал в прострацию, когда старичье выиграло сет и победило со счетом 6:4.

Потом мы сидели вместе с Джоан, взяв на троих два чая и один джин.

– Извините, что подвел вас, – сказал я Сьюзен.

– Ничего страшного, Пол, мне практически все равно.

От ее уравновешенности я еще больше досадовал на себя.

– Да, но мне не все равно. Я наделал массу глупостей. Был абсолютно бесполезен. Первая подача вообще не шла.

– Потому что опускаешь левое плечо, – неожиданно встряла Джоан.

– Но я же подаю правой, – с некоторым раздражением ответил я.

– Вот именно. Поэтому левое плечо опускать нельзя. Чтобы не терять равновесие.

– Я не знал, что вы разбираетесь.

– Разбираюсь? Ха! Да я сто раз выигрывала этот сраный турнир! Пока колени гнулись. Тебе бы взять несколько уроков, юноша, вот и все. Но кисти у тебя в порядке.

– Смотри-ка: покраснел! – без надобности отметила Сьюзен. – Раньше за ним такого не водилось.

Позднее, в машине, я спрашиваю:

– Джоан правду говорит? Она в самом деле прилично играла?

– О да. На уровне графства им с Джеральдом практически не было равных. Она и в одиночном разряде показывала класс – ты, наверное, догадался, – но потом ее стали подводить колени. Впрочем, ее коньком была парная игра. Где нужно получать и оказывать поддержку.

– Мне нравится Джоан, – говорю я. – Мне нравится, как она сквернословит.

– Да, это все подмечают – одним это претит, другим нет. Джин, сигареты, бридж, собаки. И сквернословие. Джоан далеко не проста.

– А я ничего и не говорю, – запротестовал я. – Тем более она сказала, что кисти у меня в порядке.

– Не пытайся остричь без передышки, Пол.

– Ну, знаете, мне всего девятнадцать, как не устают повторять мои родители.

Сьюзен ненадолго умолкает, а потом сворачивает в «карман» и тормозит. Смотрит вдаль сквозь лобовое стекло.

– Когда умер Джеральд, переживала не я одна. Джоан была безутешна. Они рано остались без матери, отец с утра до ночи трудился в страховой компании, так что брат с сестрой были предоставлены сами себе. А когда Джеральда не стало... она просто сорвалась с катушек. Спала со всеми подряд.

– Дело житейское.

– И да и нет, Кейси-Пол. Все зависит от того, кто ты и кто они. И у кого больше жизненных сил. Обычно у мужчины.

– Мне кажется, у Джоан жизненных сил предостаточно.

– Это показное. Все мы что-то делаем напоказ. Придет день – и ты будешь устраивать показательные выступления, уж поверь. Джоан была неразборчива в связях. Поначалу это вроде бы не играло роли, коль скоро она не забеременела и никак не пострадала. В самом деле. Но потом ей вскружил голову... не будем уточнять кто. Естественно, женатый, естественно, богач, естественно, распутник. Снял ей квартиру в Кенсингтоне.

– Ничего себе. Джоан была... содержанкой?.. наложницей?

Эти слова и обозначаемые ими сексуальные ипостаси я почерпнул из книг.

– Называй, как хочешь. Все равно это будет неточно. Слова редко бывают точны. Как бы ты назвал себя? А меня? – (Я промолчал.) – Джоан просто помешалась на этом негодяе. Ждала, верила его обещаниям, изредка летала с ним на выходные в Европу. Три года он морочил ей голову. И вот

наконец, как обещал, развелся с женой. Джоан решила, что пробил ее счастливый час. Более того, она готовилась всех нас посрамить. «Пробил мой счастливый час», – твердила она.

– И ошибалась?

– Он женился на другой. Джоан узнала об этом из газет. Собрала все подаренные им наряды, бросила на пол в гостиной, обрызгала бензином из баллончика для зажигалок, чиркнула спичкой и хлопнула дверью, бросив ключи от съемной квартиры в почтовый ящик. Вернулась к отцу. Свалилась как снег на голову. Подозреваю, что от нее тянуло паленым. Отец не сказал ни слова, ни о чем не спрашивал, просто прижал ее к груди. Прошел не один месяц, прежде чем она ему открылась. Если ей в чем-то и повезло – впрочем, какое уж тут везенье, – то лишь в одном: что огонь чудом не уничтожил другие квартиры. Она только прожгла дорогой ковер. А ведь могла бы отправиться в тюрьму за убийство. После того случая она беззаветно ухаживала за отцом. Увлечлась собаками, хотела стать заводчицей. Научилась коротать время. В этой жизни все мы ищем для себя безопасную гавань. А не найдя, учимся коротать время.

Я про себя думаю: передо мной вряд ли встанет такая проблема. Жизнь слишком полнокровна, и так будет всегда.

– Вот несчастная старушка Джоан, – говорю я вслух. – Кто бы мог подумать.

– Она жульничает, когда решает кроссворды.

Не усматриваю логики.

– Что-что?

– Жульничает. Ищет ответы в справочниках. А не найдя – она сама мне призналась, – вписывает любое слово, подходящее по буквам. Но это извращает саму идею... а вообще говоря, ответы есть в конце любого сборника кроссвордов.

Я в недоумении, а потому только повторяю:

– Несчастливая старушка.

– И да и нет. И да и нет. Вы не забывайте, юноша. История любви у каждого своя. У каждого. Пусть она закончится крахом, угаснет, пусть даже не начнется вовсе и останется в воображении, но от этого она не станет менее реальной. Наоборот, она может стать даже более реальной. Иногда встречаешь пожилых супругов, которые, как видно, до смерти наскучили друг другу, и диву даешься: что между ними общего, почему они до сих пор вместе? И оказывается, не потому, что их держат условности, привычка или самоуспокоенность. А потому, что у них есть история любви. Она есть у каждого человека. И это – единственная история.

Молчу. Я получил отповедь. Причем не от Сьюзен. А от жизни.

* * *

В тот же вечер я пригляделся к родителям и внимательно прислушался к их разговорам. Сделал попытку представить, будто у них за плечами тоже есть история любви. Из стародавних времен. Но продвинулся я недалеко. Затем постарался представить, что у каждого из них все же была любовная история, но совершенно отдельная, либо до свадьбы, либо – что еще более щекотливо – в браке. Но и тут ничего не срасталось; я сдался. Почему-то эти мысли вытеснялись другими: а способен ли я, подобно Джоан, играть некую роль, не вызывающую любопытства? Как знать?

Потом я мысленно отмотал события назад и попытался представить, как складывалась родительская жизнь до моего появления на свет. Вижу, как они начинают путь: бок о бок, рука об руку, счастливые, уверенные, шагают вперед по борозде, выстланной мягкими, нежными травами. Кругом тянутся бескрайние цветущие луга, природа никуда не спешит. Жизнь идет своим чередом лет десять, а то и двадцать, ровно и мирно, не предвещая опасностей, но мало-помалу из-под изумрудной зелени начинают проглядывать бурые проплешины, борозда углубляется, а края становятся выше, и что за ними творится – уже не видно. Из борозды теперь не выбраться, возврата нет. Вверху только небо, и к нему тянутся бурые земляные валы, грозя похоронить под собой путников.

В мои планы совершенно не входило увязать в такой борозде. Или становиться заводчиком собак.

* * *

– Постарайся понять, – говорит Сьюзен. – В семье было трое детей. В те годы образование давали прежде всего мальчикам. Филип отучился как положено, а на долю Алека денег хватило лишь до пятнадцати лет. Мы с Алеком были очень близки. Алека обожали все, он во всем был лучшим. В положенный срок, естественно, ушел в армию – по примеру лучших. Служил в Военно-воздушных силах. Дорос до пилотирования «сандерлендов». Это самолеты-амфибии. Они подолгу летали над Атлантикой, искали подводные лодки. Патрулировали часов по тринадцать кряду. Чтобы экипажи не теряли бдительности, им выдавали таблетки. Но

речь сейчас о другом. Приехав домой в свой последний отпуск, Алек пригласил меня поужинать. Не в какое-нибудь шикарное заведение, а в скромный ресторан «Корнер-хаус». И там, взяв мои ладони в свои, сказал: «Сью, родная, до чего же они коварны, эти чудовища-„сандерленды“. Похоже, мне они не по плечу. Уж слишком коварны. Когда час за часом кружишь над водой, где не на чем остановить глаз, никто, даже штурман не может определить, куда нас занесло. При взлете и посадке я каждый раз молюсь. Хоть и неверующий, а все равно молюсь. И каждый раз цепенею от страха. Ну вот, высказался – и полегчало. Теперь будем уповать на четное число взлетов и посадок». С тех я его больше не видела. Через три недели нам пришло сообщение, что он пропал без вести. Самолет бесследно исчез. И я всегда представляю, как Алек над водой цепенеет от страха.

Я обнимаю ее за плечи. Она хмуро стряхивает мою руку.

– Погоди, это еще не все. Мне казалось, что вокруг постоянно кишат мужчины. Шла война: думаешь, их дело – воевать, но многие, уж поверь мне, ошивались в тылу. Людишки мелкого пошиба. Среди них случайно затесался Джеральд, который дважды пытался пройти медкомиссию, но так и не смог, а потом и Гордон, которому, как он любил повторять, «дали бронь». У Джеральда была мягкая натура и приятная внешность, Гордон же вечно пытался язвить, но в любом случае мне просто нравилось танцевать с Джеральдом. Мы с ним обручились – пойми, в военное время так было принято. Не могу сказать, что я потеряла голову от любви, но Джеральд, вне сомнения, был добрым человеком. А потом он скорпостижно умер от лейкемии. Я уже рассказывала. Надо же было такому случиться. И я подумала, что нужно выйти хотя бы за Гордона. Надеюсь его перевоспитать. Однако, если ты мог заметить, такое попросту невозможно.

– Но ведь...

– Согласись: мы – отработанное поколение. Лучшие ушли. Остались людишки мелкого пошиба. В этом суть любой войны. Поэтому теперь одна надежда – на твое поколение.

Я не ощущаю своей принадлежности к какому-либо поколению и ни под каким видом – хоть и поражен ее рассказом, ее историей и предысторией – не хочу идти в политику.

* * *

Однажды мы, собравшись куда-то прокатиться, сели в мою машину –

защитного цвета «морис-майнор» с откидным верхом. Сьюзен сказала, что он напоминает штабной немецкий автомобиль для низшего состава. Пустая дорога шла в гору. Я никогда не лихачил, но тут втопил педаль, чтобы эффектно преодолеть длинный подъем. И метров через пятьдесят почувствовал: что-то не так. Притом что я убрал ногу с педали газа, машина разгонялась как бешеная. Я инстинктивно ударил по тормозам. Это не помогло. Во мне одновременно проснулись паника и ясность мысли. Не верьте, если вам скажут, будто эти состояния несовместимы. Двигатель ревел, визжали тормоза, машину бросало из стороны в сторону, скорость держалась на уровне сорока-пятидесяти миль в час. У меня даже в мыслях не было спросить совета у Сьюзен. Я считал, что это моя проблема – мне ее и решать. И тут меня как ударило: выжми сцепление. Так я и сделал. Автомобильная истерия прекратилась, и мы замерли у обочины.

– Молодчина, Кейси-Пол, – говорит Сьюзен. В ее устах это двойное имя обычно служит признаком одобрения.

– Как же я сразу не сообразил? В самом деле, достаточно было выключить зажигание. И дело с концом. Но мне такое даже в голову не пришло.

– По-моему, на спуске будет автосервис. – Сьюзен как ни в чем не бывало выходит из машины.

– Ты испугалась?

– Нет. Я знала, что ты найдешь выход из любого положения. Мне с тобой всегда спокойно.

Хорошо помню, как она это сказала и как я раздулся от гордости. Но столь же отчетливо запомнились и те ощущения, которые охватили меня в неуправляемом автомобиле, который не слушался тормозов и зигзагом летел по шоссе.

* * *

Должен рассказать вам, какие у нее были зубы. Ну хотя бы передние. Верхние резцы. Она сама говорила о них «кроличьи зубы», потому что их длина где-то на миллиметр превышала строгий национальный стандарт; но мне виделась в этом особая изюминка. Бывало, я легко постукивал по ним средним пальцем, проверяя, оба ли на месте и надежны ли, как она сама. Это превратилось в регулярное действие, чем-то похожее на инвентаризацию.

У нас в Деревне все взрослое население – точнее, все население средних лет – увлекалось кроссвордами: мои родители, их знакомые, Джоан, Гордон Маклауд. Единственное исключение составляла Сьюзен. Особенно ценились головоломные кроссворды из «Таймс» и «Телеграф», а Джоан вдобавок покупала сборники, чтобы не дожидаться очередного номера газеты. Я с некоторым презрением взирал на эту типично британскую форму досуга. В ту пору мне нравилось вскрывать тайные мотивы (предпочтительно лицемерные), скрытые за явными. Понятно же, что это безобидное на первый взгляд занятие не сводилось к отыскиванию ответов на замысловатые вопросы и заполнению клеток. Мой анализ выявил следующие факторы: 1) желание свести вселенский хаос к ограниченной и понятной черно-белой фигуре, расчерченной на квадраты; 2) глубинная уверенность, что в этой жизни рано или поздно для всего находится решение; 3) подтверждение того факта, что бытие – это, по сути дела, одна из форм игровой деятельности, и 4) надежда, что на недолгом земном пути от рождения к смерти эта деятельность позволит отодвинуть житейские муки. Вот, похоже, и все!

Как-то вечером Гордон Маклауд, выглянув из облака сигарного дыма, обратился ко мне:

– Город в Сомерсете, семь букв, последняя «н».

Я немного подумал и предположил:

– Суиндон?

Он снисходительно поцокал языком:

– Суиндон – столица Уилтшира.

– Разве? Какой сюрприз. Вы там бывали?

– Бывал, не бывал – это к делу не относится, – ответил он. – Подойди, взгляни сюда. Может, угадаешь.

Я пересел к нему. Действительно, в верхней строке осталось шесть пустых квадратиков и за ними «н», что не давало никаких дополнительных подсказок.

– Таунтон, – провозгласил Гордон, вписывая ответ.

Я подметил у него странную манеру письма: он изображал буквы отдельными штрихами, отрывая ручку от бумаги. Притом что букву «н» можно вывести единым росчерком, он трижды заносил ручку над газетой.

– «Город в тоне Сомерсета». Здесь и зашифрован ответ. «Город» и «тон». Усек, Вьюноша?

– А, теперь дошло, – покивал я. – Остроумно.

Конечно, я просто ерничал. А к тому же не сомневался, что Маклауд сперва нашел разгадку, а уж потом обратился ко мне с вопросом. По этой причине я впоследствии внес еще один пункт в свой анализ увлечения кроссвордами, или, как выражался Маклауд, крестословицами: 3.1) ложное подтверждение своего интеллектуального превосходства.

– А миссис Маклауд решает кроссворды? – спросил я, уже зная ответ. А сам подумал: это игра для двоих.

– Крестословицы, – с некоторой иронией начал он, – не женская забава.

– Моя мама разгадывает вместе с папой. Джоан тоже увлекается.

Опустив подбородок, он смотрит на меня поверх очков.

– В таком случае нужно, видимо, постулировать, что крестословицы – забава не для женственных женщин. Что скажешь?

– Скажу, что для таких обобщений у меня маловато жизненного опыта.

Хотя в уме я уже так и этак вертел фразу «женственная женщина». Что за ней стояло: восхищение любящего мужа или завуалированное оскорбление?

– Тогда что мы имеем: двенадцать по вертикали – в середине буква «о».

Откуда ни возьмись появилось это «мы». Я уставился на вопрос. «Нота со множеством увечий»?

– Ресторан, – пробормотал Маклауд, вписывая ответ – два-три штриха на каждую букву. – Гляди: нота «ре» – и дальше «сто ран».

– Да, тоже остроумно. – Я изобразил восторг.

– Избито. Мне такое уже встречалось, – с налетом самодовольства прокомментировал он.

Подпункт 2.1): дополнительная уверенность в том, что найденное однажды верное решение подойдет и впредь для решения аналогичных задач, причем повторное использование того же самого решения создаст иллюзию пика зрелости и мудрости.

Маклауд, не спросив моего согласия, вознамерился преподать мне все тонкости решения такого рода крестословиц. Анаграммы и пути их выявления; простые слова, спрятанные внутри сложных; излюбленные газетчиками сокращения и уловки; общепринятые аббревиатуры; буквы и термины, заимствованные из шахматной нотации, воинских званий и других сфер; написание слова снизу вверх в дефиниции к слову, расположенному по вертикали, или же обратное написание в дефиниции к слову, расположенному по горизонтали.

– Вот видишь: «Да, паз» – это же «запад», только задом наперед.

Исправление к пункту 4). Прежде всего: «надежда, что эта до чертиков нудная забава даст возможность...»

Впоследствии я попытался составить анаграмму из слова ЖЕНСТВЕННОСТЬ. Ничего вразумительного у меня, конечно, не получилось. ЖЕСТЬ... СОВЕСТЬ... и прочие бессвязные обрывки.

Еще одно добавление: 1.1) удачный способ отвлечь внимание от вопроса любви, который по большому счету главенствует в этой жизни.

Тем не менее я и дальше составлял компанию Маклауду, пока тот, дымя сигаретами «плейерс», заполнял клеточки своими нелепомеханическими штрихами. Похоже, он находил особое удовольствие в том, чтобы растолковывать мне дефиниции, а мои редкие присвисты и мычания расценивал как овации.

– Мы еще сделаем из него специалиста по крестословице, – заметил он жене за ужином.

Иногда у нас с ним находились общие занятия. Не очень существенные, не очень продолжительные, но все же. К примеру, он звал меня в огород, чтобы вбить колышки и натянуть веревку для идеального выравнивания капустных грядок. Пару раз мы слушали радиотрансляцию какого-то международного матча по крикету. Однажды он попросил меня помочь, по его выражению, «заправить автомобиль горючим». Я поинтересовался, какую именно бензоколонку он собирается осчастливить. Ближайшую, ответил он, как и следовало ожидать. Я рассказал, что в случае с излюбленным напитком Джоан проанализировал соотношение цен и расстояний.

– Какая скучища, – прокомментировал он мои выкладки, а потом ослабил.

Я поймал себя на том, что много раз видел его глаза. А Сьюзен не видела их годами. Вероятно, она преувеличивала. Или, быть может, просто не давала себе труда внимательно посмотреть.

ЕСТЕСТВО... НЕЖНОСТЬ... нет, все не то.

* * *

Вот какая мысль преследовала меня в ту пору: окончив школу и обучаясь в университете, я ничего не знаю о реальной действительности. Что до Сьюзен – хорошо, если она закончила хотя бы начальные классы, но знаний у нее куда больше, чем у меня. Я черпаю сведения из книг, она – из

жизни.

Нельзя сказать, что я во всем с ней соглашался. Рассказывая о Джоан, она как-то сказала: «Все мы ищем для себя безопасную гавань». Я довольно долго размышлял над этими словами. И пришел к такому выводу: может, оно и верно, однако мне «всего девятнадцать», я еще молод и выбираю для себя опасные рифы.

* * *

Для описания наших отношений я, по примеру Сьюзен, пользуюсь эвфемизмами. Похоже, у нас сложилось взаимопонимание поколений. Мы с нею партнеры по теннису. Мы равнодушны к музыке и ездим в Лондон на концерты. Посещаем художественные выставки. Ну, не знаю, что еще, но как-то же мы ладим. Понятия не имею, кто из нас во что верит и насколько моя гордыня стремится к показным эффектам. Сейчас, на другом конце жизни, я безошибочно определяю, связывают ли ту или иную пару близкие отношения: если с виду кажется, что это весьма вероятно, значит так оно и есть. Но те события происходили не одно десятилетие назад, и вполне возможно, что там, где думалось «весьма вероятно», ничего такого и не было.

* * *

И еще: дочери. В том возрасте общение с девушками – как с однокурсницами, так и с теннисными Каролинами – давалось мне нелегко. До меня не доходило, что всякие... шуры-муры... смущают их не меньше, чем меня самого. И если парни запросто сыпали всякими доморощенными откровениями, то девушки в вопросах понимания мира руководствовались, как видно, Житейской Мудростью. Если девушка, ничуть не превосходившая тебя знаниями ни в какой области, изрекала: «Задним умом все мы крепки», от ее слов так и веяло фальшью. Подобная реплика могла исходить от моей матери. Другой пример житейской мудрости, запомнившийся мне с той поры: «Если опустишь планку, потом не жалуйся». Мне виделась в этом некая обреченность – как у матери сорока пяти лет, так и у двадцатилетней дочери.

Итак: Марта и Клара. Мисс Б. и мисс НТ. Мисс Брюзга и мисс Не Такая (Брюзга). Рослая, красивая Марта внешне походила на мать, но

сварливый нрав унаследовала от отца. Клара, пухленькая и округлая, выказывала больше дружелюбия и живости. Мисс Брюзга относилась ко мне с неодобрением, мисс Не Такая – даже, можно сказать, с интересом. Мисс Брюзга говорила: «У тебя, что ли, своего дома нет?» Мисс Не Такая спрашивала, что я читаю, и однажды даже показала мне свои стихи. Но в то время (впрочем, как и сейчас) я мало смыслил в поэзии, так что мой отклик, видимо, ее обескуражил. Таковы, насколько я помню, были мои предварительные оценки.

Если общение с девушками в целом давалось мне нелегко, то что уж говорить о тех, которые были чуть постарше меня, да к тому же приходились дочерьми моей возлюбленной. Мое напряжение, очевидно, только подчеркивало ту безмятежность, с которой они расхаживали по дому, появлялись, исчезали, поддерживали или не трудились поддерживать беседу. Возможно, моя реакция на такое положение вещей оказалась грубоватой, но я решил уделять им не больше внимания, чем они уделяли мне. То есть еле-еле процентов пять. Меня это вполне устраивало, потому что более девяноста пяти процентов моего внимания сосредоточивалось на Сьюзен.

Поскольку от Марты исходило больше неодобрения, именно ей – то ли с вызовом, то ли с извращенным нажимом – я сказал:

– Вероятно, мне следует объясниться: Сьюзен в некотором роде моя приемная мать.

Нет, получилось не слишком убедительно, как ни крути. По всей вероятности, это прозвучало фальшиво, как будто я, скользкий тип, надумал подольститься к Марте. Та ответила не сразу, с изрядной долей сарказма:

– Лично я в приемной матери не нуждаюсь. У меня родная есть.

Неужели мое заявление было частью моей лжи? Трудно поверить.

Как ни странно, проблема разницы в возрасте совершенно меня не волновала.

Возраст, с моей точки зрения, не играл, как и деньги, существенной роли. Я не воспринимал Сьюзен в контексте родительского поколения – «отработанного» или какого-нибудь еще. Она никогда не подавляла меня авторитетом, никогда не цедила: «Вырастешь – поймешь» – ничего такого. Только родители без конца прохаживались насчет моей незрелости.

Ага, скажете вы, но ведь сам факт того, что ты признал Сьюзен своей приемной матерью, выдал тебя с головой в глазах ее дочки? Можешь сколько угодно твердить, что держал фигу в кармане, но разве шутки – это не всеобщий способ унять собственные внутренние страхи? Сьюзен, почти

ровесница твоей матери, ложилась с тобой в постель. И что? Да то.

Вижу, что у вас на уме: перекресток трех дорог на пути в Дельфы.^[2] Послушайте, у меня не было желания – ни под каким видом, ни на каком уровне сознания – убивать родного отца и спать с родной матерью. Правда заключается в том, что у меня было желание спать со Сьюзен (и я не раз его осуществил), а кроме того, в течение нескольких лет мне не давало покоя еще одно желание: убить Гордона Маклауда, но это уже другая глава моей истории. Не вдаваясь в излишние подробности, скажу: как по мне, миф об Эдипе всегда имел скорее мелодраматическую ценность, нежели психологическую. За всю свою жизнь я не встречал ни одного человека, к кому мог бы относиться этот миф.

Вы считаете меня наивным? Хотите указать, что человеческая мотивация зарыта хитро и скрывает свои таинственные механизмы от того, кто слепо ей подчиняется? Возможно. Но даже Эдип – в особенности Эдип – не *хотел* убивать своего отца и спать со своей матерью, верно? Нет, хотел! Нет, не хотел! Ладно, оставим этот диалог для сцены.

Нельзя сказать, что предыстория не играет никакой роли. Наоборот, предыстория, на мой взгляд, играет ключевую роль в любых отношениях.

* * *

Лучше расскажу вам про ее уши. Я упустил их из виду при первом знакомстве в теннисном клубе, когда волосы Сьюзен были стянуты на затылке зеленой лентой в тон отделке и пуговицам платья. Обычно ее волосы кудрявились над ушами и свободно ниспадали до середины шеи. Поэтому ее ушки бросились мне в глаза лишь позднее, когда мы лежали в постели и я обшаривал, исследовал ее тело, каждый уголок и каждую складочку, все, что видел прежде и чего еще не видел: вот тогда-то, пригнувшись сверху, я отвел назад ее волосы и под ними обнаружил уши.

Об ушах я никогда раньше не задумывался, разве что в комических ситуациях. Нормальными считал незаметные уши, которые не привлекают внимания, уродливыми – те, что торчат, как крылья летучей мыши, или изувечены боксерским ударом, или мясисто-красные, волосатые, как у того разъяренного автомобилиста на пешеходном переходе. Но ее ушки, ох, ее ушки... от деликатных, почти незаметных мочек они аккуратно разворачивались к северу, но в середине меняли изгиб под таким же углом, чтобы прильнуть к голове. Можно было подумать, что созданы они для красоты, а не для практических нужд слухового аппарата.

Когда я сообщаю об этом Сьюзен, она отвечает: «Это, наверное, для того, чтобы всякий сор пролетал мимо, не попадал внутрь».

Но это еще не все. Исследуя их кончиками пальцев, я открыл для себя нежность ушных раковин: тонких, теплых, нежных, почти прозрачных. Знаете, как называется этот внешний лабиринт? Для него есть специальное слово: завиток. Ее уши были неповторимы, как ДНК. Двойные завитки.

Позднее, пытаясь разобраться, что она имела в виду под словом «сор», который не попадает в ее изумительные ушки, я заключил, что самый грязный сор – это, пожалуй, обвинения во фригидности. Если не считать того, что слово это проникло ей в уши, а оттуда в голову, где и застряло навечно.

* * *

Деньги, повторюсь, играли в наших отношениях столь же ничтожную роль, как и возраст. Платила обычно она, но это не имело значения. У меня в этом смысле не было никакой дурацкой мужской гордыни. Вероятно, безденежье даже придавало моей любви к Сьюзен оттенок благородства.

Через пару месяцев или немного позже она заявила, что мне нужно создать резервный фонд.

– Зачем?

– На случай побега. У каждого должен быть резервный фонд на случай побега.

Аналогично тому, как у каждого молодого человека должна быть репутация. Откуда пошла эта идея? Из какого-нибудь романа Нэнси Митфорд?^[3]

– Но я не собираюсь бежать. От кого – от родителей? Я от них и так дистанцировался. Мысленно. От тебя? С какой стати? Я хочу, чтобы ты всю жизнь была со мной.

– Ты чудесный, Пол. Но пойми: речь идет не о каком-то особом фонде. Это, так сказать, фонд общего назначения. В определенный момент у каждого возникает желание убежать от своей жизни. Это, пожалуй, единственное, что роднит всех людей.

Такие идеи выше моего понимания. Могу представить себе разве что побег вместе с ней, но не от нее.

Проходит несколько дней – и она вручает мне чек на полтысячи. Взятый напрокат автомобиль обошелся мне в двадцать пять фунтов; за целый семестр я потратил менее сотни. Так что сумма эта выглядела столь

же чрезмерной, сколь и бессмысленной. Мне даже не пришло в голову слово «щедрость». У меня не было предубеждений в плане денег – ни за, ни против. В наших отношениях они ничего не решали – это я знал наверняка. В общем, по возвращении в университет я отправился в город, открыл счет в первом попавшемся банке, протянул в окошко чек и напроць о нем забыл.

* * *

Наверное, мне с самого начала следовало кое-что прояснить, иначе из моего рассказа недолго сделать вывод, будто наши отношения со Сьюзен напоминали милую летнюю интрижку. Стереотипные представления рождают именно такую мысль. Вначале совершается сексуально-эмоциональная инициация, далее следует упоительная пора наслаждений, удовольствий и потаканий, затем женщина испытывает укол совести, вспоминает, что такое честь, и отпускает молодого человека в бескрайний мир, населенный прелестями его сверстниц.

Но, как я уже сказал, у нас было не так. Мы прожили вместе – да, именно вместе – десять или двенадцать лет, смотря откуда вести отсчет времени. Эти годы пришлись на ту эпоху, которая в публицистике именовалась Сексуальной Революцией. В тот период всеобщей плотской любви (по крайней мере, так нам внушали), мимолетных удовольствий, свободных и необременительных связей во главу угла ставились неодолимые влечения и эмоциональная раскрепощенность. Так и получилось, что мои отношения со Сьюзен не укладывались ни в новые, ни в старые нормы.

* * *

Помню такой случай: однажды вечером, надев легкое платье в цветочек, она бросилась на обитый ситцем диван.

– Смотри, Кейси-Пол! Я исчезаю! Это фокус! Здесь пусто!

Смотрю. Действительно, почти так и есть. Я отчетливо вижу ее ноги в чулках, голову, шею, но туловище вдруг растворяется.

– Ты бы не возражал, верно, Кейси-Пол? Чтобы мы вдруг стали невидимками?

Не могу взять в толк: она серьезно спрашивает или просто дурачится.

Как реагировать – непонятно. Сейчас задним числом догадываюсь, что принадлежал к тому типу людей, которые все понимают буквально.

* * *

Я рассказал Эрику, что познакомился с неким семейством и нашел свою любовь. Описал Маклаудов, их дом, уклад жизни, порадовался своему красноречию. И подчеркнул, что сделал шаг во взрослую жизнь.

– Так в которую из дочек ты втюрился? – спросил Эрик.

– При чем тут дочери? Я говорю о матери.

– Ах, о матери, – протянул он и добавил, повысив мне балл за оригинальность: – Мы рады.

* * *

Однажды замечаю у нее на руке, выше локтя, темный кровоподтек – как раз там, где заканчивается короткий рукав платья. Синяк размером с отпечаток большого пальца.

– Что это? – спрашиваю.

– Да так, – беззаботно отвечает она. – Ударилась где-то. У меня сразу синяки проступают.

Да, не иначе, думаю про себя. Она так же чувствительна, как и я. Конечно, мир походя причиняет нам боль. А мы должны друг о друге заботиться.

– Когда я сжимаю тебе запястья, на них синяков не остается.

– Похоже, на запястьях вообще не бывает синяков.

– От моих пальцев.

* * *

Тот факт, что «она мне в матери годится», не нашел одобрения у моей мамы. Равно как и у отца, и у мужа и дочерей Сьюзен, и не порадовал бы архиепископа Кентерберийского, хотя тот не входил в круг друзей семьи. Но я и не стремился к одобрению, как не стремился к деньгам. А неодобрение, будь то действенное или умозрительное, рожденное незнанием или осведомленностью, только воспламеняло, укрепляло и

оправдывало мою любовь.

Нового определения любви я не изобрел. Не исследовал ее суть, не просчитал возможных последствий. Я просто покорился первой любви во всех ее проявлениях, от шороха ресниц на щеке до полной категоричности суждений. Все другое отодвинулось на второй план. Конечно, я обдумывал «всю оставшуюся жизнь», как в ближайшей перспективе (высшее образование), так и в отдаленной (работа, доход, статус, завершение карьеры, пенсия, смерть). Кто-то скажет, что я отгородился от реальности. Только это неверно: моей единственной реальностью была Сьюзен, а не что-то иное. В случае необходимости всем остальным можно и нужно было пожертвовать. Впрочем, «жертва» предполагает потерю. У меня ни разу не возникло чувства потери. Вера и государственные устои, внушают нам, вера и государственные устои. Никаких сложностей здесь не возникало. Вера – превыше всего, всегда, хотя и не в том смысле, в каком истолковал бы ее архиепископ Кентерберийский.

Я не столько выстраивал собственную идею любви, сколько расчищал ей дорогу. Все, что я прочел и усвоил, от шушуканья на детской площадке до возвышенных литературных пассажей, никак не вязалось с реальностью. В судьбе мужчин любовь не основное, / Для женщины любовь и жизнь – одно.^[4] Что это – заблуждение или, как сейчас говорят, гендерная дискриминация? А в противоположной части спектра – земные, постельные откровения в высшей степени невежественных и в такой же степени сексуально озабоченных школяров. «С лица воду не пить». Откуда это пошло? От какой-нибудь скотской антиутопии, оглашаемой слепым ночным сопеньем?

Нет, мне нужно было постоянно видеть перед собой ее лицо, глаза, губы, улыбку, драгоценные ушки с изящными завитками и слышать милый шепот. Итак: я ложусь на спину, она – сверху, ее ступни скользнули между моими, она прижимает кончик своего носа к кончику моего и говорит: «Теперь мы сходимся во взглядах».

Сформулирую то же самое иначе. Мне было девятнадцать, и я знал, что любовь не продается, не стареет и не меркнет.

* * *

И вдруг на меня накатывает... что?.. страх? собственнический инстинкт? эгоизм? Предвидя у нее большую осведомленность, я говорю:

– Понимаешь, я никогда еще не любил и не разбираюсь в любви. Вот

что меня тревожит: если ты будешь меня любить, тебя не хватит на других, которые тебе дороги.

Имен я не называю. Но речь идет о ее дочерях и даже, возможно, о муже.

– Это не так. – Она отвечает сразу, как будто сама задавалась этим вопросом и уже нашла решение. – Любовь растяжима. Она не скудеет. Она только приумножается. И не убывает. Волноваться не о чем.

И я успокоился.

* * *

– Должна тебе кое-что объяснить, – начинает она. – Мой свекор, очень милый человек, врач по профессии, коллекционировал мебель. И приобрел некоторые из этих предметов обстановки. – Неопределенным жестом Сьюзен обводит массивный дубовый сундук и высокие часы, которые при мне ни разу не отбивали время. – Желая видеть сына художником, он дал СБ среднее имя «Рубенс». Выбор оказался не слишком удачным: из-за этого в школе его держали за еврея. Он делал обычные детские рисунки, в которых многие усматривали признаки таланта. Но дальше признаков дело не пошло – СБ не оправдал отцовских надежд. Джек – так звали моего свекра – меня любил. Всегда мне подмигивал.

– Его можно понять.

Интересно, что за этим последует. Неужели какой-нибудь любовный треугольник между поколениями?

– Через пару лет у Джека обнаружили онкологию. Я привыкла считать, что в трудную минуту смогу обратиться к нему за помощью, а теперь его от нас забирали. Я ходила его навещать, сидела у больничной койки, но так переживала, что Джек всякий раз сам начинал меня утешать. Как-то раз я спросила, что он думает об этом положении дел, и он ответил: «Конечно, я бы предпочел, чтобы все сложилось иначе, но мне грех жаловаться». Он радовался моим посещениям – возможно, по причине моей молодости и неискушенности. Я была с ним до самого конца. В тот день – в последний день – его лечащий врач и добрый друг, войдя в палату, тихо произнес: «Пора дать тебе покой, Джек». – «Ты прав», – был ответ. Понимаешь, Джека давно мучили страшные боли. Он повернулся ко мне и сказал: «Жаль, дорогая, что наше с тобой знакомство оказалось таким кратким. Рядом с тобой мне было чудо как хорошо. Гордон, ясное дело, несносен, как ядовитый плющ, но я могу умереть спокойно, потому что вверяю его в

твои надежные, заботливые руки». Я поцеловала его и вышла из палаты.

– Не хочешь ли ты сказать, что врач его убил?

– Он ввел ему большую дозу морфия и погрузил в сон.

– После чего Джек уже не проснулся?

– Да, это так. В прежние времена медики порой прибегали к таким методам, особенно в своей среде. Или в отношении старых знакомых, при условии полного доверия. Облегчение страданий – благородная миссия. В случае такого тяжелейшего заболевания.

– Ну, не знаю. Я бы вряд ли согласился, чтобы меня умертвили.

– Не зарекайся, Пол. Но речь о другом.

– Прости.

– Ключевые слова этой истории – «надежные, заботливые руки».

Я ненадолго впадаю в задумчивость.

– Да, понимаю. – Но сам далеко не уверен, что все понял.

* * *

– А куда вы обычно ездите отдыхать?

– Пол, такие вопросы задают дамские парикмахеры.

В ответ я склоняюсь над ней и заправляю пряди волос ей за уши, нежно поглаживая завитки ушных раковин.

– Господи, – продолжает она. – Отчего у людей такие стандартные представления? Нет, к тебе это не относится, Кейси-Пол. Я о другом: отчего все стремятся вести себя одинаково? Да, пока девочки не подросли, мы пару раз ездили отдыхать. Я так тебе скажу: лучше бы мне было под бомбежку попасть. На курорте СБ показал себя не с лучшей стороны. Какой уж тут отдых?

Я начинаю думать, что должен проявить интерес. Вероятно, на курорте произошла какая-то катастрофа.

– И что ты отвечаешь, когда парикмахер задает такие вопросы?

– Я отвечаю: «Да все туда же». И парикмахер начинает думать, что уже спрашивал, но забыл, так что на этом расспросы обычно прекращаются.

– Давай мы с тобой куда-нибудь съездим.

– Сперва тебе придется меня просветить: для чего это нужно?

– Это нужно для того, – твердо отвечаю я, – чтобы оказаться наедине с любимым человеком за сотни миль от этой проклятой Деревни, где нас угораздило жить. Чтобы постоянно быть рядом. Вместе ложиться спать и вместе просыпаться.

– Ну, если так, Кейси...

Как видите, были вещи, которые я понимал, а она – нет.

* * *

Сидим мы как-то перед концертом в буфете Ройял-Фестивал-Холла. Еще на первых порах нашего знакомства Сьюзен заметила, что при понижении уровня сахара в крови я становлюсь, по ее выражению, «каким-то занудиусом», и сейчас, дабы этого избежать, решила меня накормить. Заказала мне, кажется, нечто с жареным картофелем, а сама довольствовалась чаем с парой галет. Я люблю наши вылазки в Лондон – они позволяют нам вырваться из Деревни, чтобы побыть вдвоем, отгородиться от моих родителей, от ее мужа и всего прочего, окунуться в шум и толчею большого города и предвкушать тишину концертного зала, сквозь которую вот-вот поплывет музыка.

Я как раз собираюсь заговорить об этом вслух, когда к нам за столик подсаживается какая-то женщина, даже не соизволив хотя бы для виду спросить разрешения. Она немолода, пришла одна и больше ничем не примечательна, хотя в воспоминаниях предстает копией моей матери или, во всяком случае, ханжой, которая, безусловно, осудит наши отношения. И через пару минут я, вполне отдавая себе отчет в собственных действиях, устремляю взгляд на Сьюзен и в полный голос, членораздельно произношу:

– Выходи за меня замуж.

Сьюзен краснеет, накрывает уши ладонями и закусывает губу. Незнакомка резко опускает чашку, с грохотом отодвигает стул и топает к другому столу.

– Ох, Кейси-Пол, – говорит Сьюзен, – до чего же ты вредный.

* * *

Я ужинал у Маклаудов. В тот день из университета приехала Клара. Маклауд сидел во главе стола с баллоном какого-то пойла и кружкой зеленого лука, и то и другое размером с цветочную вазу.

– Ты, вероятно, заметила, – обращается он к дочери, – что этот молодой человек вошел в круг наших домочадцев. Значит, так тому и быть.

Непонятно, чего больше было в его тоне – педантичного радушия или умело замаскированного презрения. Покосившись на Клару, я не нашел у

нее подсказки.

– Впрочем, тут еще вилами на воде писано, – продолжал Маклауд, явно опровергая свою предыдущую реплику, а потом набил полный рот зеленого лука и вскоре осторожно рыгнул. – Этот молодой человек любезно, хотя и запоздало поинтересовался вопросом музыкального образования твоей матери. Точнее, я бы сказал, вопросом отсутствия одного. – Затем он повернулся ко мне. – Клара получила свое имя в честь Клары Шуман,^[5] что, вероятно, было чересчур амбициозно с нашей стороны. Увы, она не проявляет особых способностей к игре на фортепиано, правда?

Я не понял, кому адресован вопрос: матери или дочке. Что до меня, имя Клары Шуман мне ничего не говорило, отчего мои позиции еще больше пошатнулись.

– Надумай твоя матушка заняться музыкой раньше, она, быть может, передала бы тебе свой – ныне поздноцветущий – энтузиазм.

Мне еще не приходилось бывать в доме, где мужское присутствие было бы столь подавляющим и в то же время столь двусмысленным. Не исключено, что такое бывает в семьях, где есть только один мужчина, который, не встречая отпора, может распоясаться. Но Гордон Маклауд, вероятно, был таким от природы.

В любом случае моя неспособность уловить его тон стала в тот вечер лишь побочной проблемой. А основная заключалась в том, что в свои девятнадцать лет я еще не знал, как вести застольную беседу с мужем моей возлюбленной.

Между тем и ужин, и разговор шли своим чередом. Сьюзен сидела с полуотсутствующим видом; Клара помалкивала. Я задал несколько вежливых вопросов и ответил на целый ряд куда более прямых. По моему признанию заправилам теннисного клуба, политикой я совершенно не интересовался, однако за новостями следил. Описываемые события произошли через несколько лет после расстрела в Шарпевиле, который, по моему, я вскользь упомянул с ноткой ханжества. Да, я считал, что стрелять в людей недопустимо.

– Ты хотя бы знаешь, где находится Шарпевиль?

Глава семейства определенно узрел во мне пустомелю-либерала.

– В Южной Африке, – ответил я и, заподозрив подвох, сразу поправился: – Или в Родезии. – Тут я призадумался. – Нет, в Южной Африке.

– Отлично. И каково же твое просвещенное мнение по поводу тамошней политической обстановки?

Я только промямлил, что не одобряю расстрелы.

– А что ты посоветуешь делать отрядам полиции всего мира, когда перед ними окажется толпа взбунтовавшихся коммунистов?

Я терпеть не мог эту манеру взрослых задавать вопросы таким тоном, будто все твои ответы – бесспорно, неточные или дурацкие – известны им наперед. Поэтому я перевел разговор в шутливое русло, подчеркнув, что не всякий мертвый бунтарь – коммунист.

– Ты сам-то хоть раз бывал в Южной Африке? – захохотал Маклауд.

Тут вмешалась Сьюзен:

– Никто из нас не бывал в Южной Африке.

– Верно, только сдается мне, о тамошней политической обстановке я знаю больше, чем вы оба, вместе взятые. – (На фоне заговора невежд Клара, по всей видимости, оказалась вне подозрений.) – Если громаду его знаний поместить на громаду твоих – Пелион, так сказать, взгромоздить на Оссу,^[6] – все равно получится шишка на ровном месте.

Затяжную паузу нарушила Сьюзен, спросив, не предложить ли кому-нибудь десерт.

– А у вас есть на десерт шишка, миссис Маклауд?

Да, теперь я вижу, что мог вести себя как бессовестный пошляк. Ладно, мне было всего девятнадцать. Я не имел ни малейшего понятия, что за субъекты или объекты Пелион и Осса; более того, меня сразила идея объединения наших познаний. По большому счету именно так поступают влюбленные: они дополняют сведения друг друга о мире. Кстати, в библейском смысле «познать кого-либо» означает вступить с ним в интимную связь. Так что я уже взгромоздил свои знания куда следовало.

Пускай это не стоило даже шишки на ровном месте. Хотя шишку можно подобрать довольно высокую.

* * *

Сьюзен мне рассказывала, что ее отец проповедовал учение «Христианская наука» и имел массу обожательниц среди своих прихожанок. Она рассказывала, как ее брат – тот, который пропал без вести, – за пару недель до своего последнего вылета пошел к проститутке – «разузнать, что к чему». Рассказывала, что ей не дано плавать, потому как у нее тяжелая кость. Такие сведения слетали у нее с языка в произвольной последовательности, без каких бы то ни было расспросов с моей стороны, разве что в ответ на мое невысказанное желание знать о ней все. Она

сыпала такими подробностями, будто ожидая, что я придам смысл и порядок ее жизни и чувствам.

– На поверку все не так, как кажется, Пол. Это, пожалуй, единственный урок, который я способна тебе преподать.

Я жду продолжения беседы о фальши респектабельности, о фальши брака, о фальши провинциальных нравов или... но у нее на уме совсем другое.

– Уинстон Черчилль – я тебе рассказывала, что видела его вживую?

– Неужели ты вхожа на Даунинг-стрит?

– Нет, глупыш. Я видела его на задворках Эйлсбери. Что я там делала? Не важно. Он расположился в открытом автомобиле, на заднем сиденье. Загримированный. Красные губы, ярко-розовая физиономия. Вид более чем странный.

– Ты уверена, что это был Черчилль? Я даже не подозревал, что он... из этих...

– Бог с тобой, Пол. Ему предстояла поездка через центральные районы, он только что выиграл войну... а может, выборы... вот его и загримировали перед съемкой. Для «Пате-журнала» и кинохроники.

– Жуть какая.

– Да уж. Этот размалеванный живой манекен видела не я одна, но в основном люди смотрели новости, а там он выглядел как надо.

Я задумываюсь. Эпизод представляется мне комичным, но не жизненным. В общем, мысли мои – совсем о другом.

– Но ты-то сама на поверку такая, как с виду? В точности такая?

Она целует меня.

– Надеюсь, пернатый мой дружок. Так лучше для нас обоих.

* * *

Мне доводилось тайно рыскать по дому Маклаудов: то как антропологу, то как социологу, но всегда – как влюбленному. На первых порах я, естественно, сравнивал их дом с родительским, и сравнение было не в нашу пользу. В доме Маклаудов чувствовались стиль, непринужденность и полное отсутствие мещанского самодовольства. У моих родителей кухня была оснащена не в пример лучше и современнее, но я не ставил этого им в заслугу, равно как и содержавшийся в безупречной чистоте автомобиль, ухоженные канавки, свежепобеленные потолки, сверкающие водопроводные краны и гигиеничные пластмассовые

стульчаки вместо теплых деревянных. В нашем доме телевизор пользовался уважением и занимал центральное место; Маклауды привычно говорили «ящик» и загораживали его каминным экраном. Они не помышляли о ковровых покрытиях и встроенной кухне, а тем более о гарнитуре-тройке или наборе для ванной комнаты в гармонирующих тонах. В гараже валялись инструменты, ненужный спортивный инвентарь, садово-огородные принадлежности, старые газонокосилки (одна в рабочем состоянии) и лишняя мебель – для «остина» места не оставалось. На первый взгляд все это могло показаться современным и оригинальным. Вначале я был просто заворожен, но постепенно разочаровался. Моя душа не знала покоя ни в родительском доме, ни в такой вот обстановке.

Более того, я чувствовал, что и Сьюзен там лишняя. Это ощущение возникло у меня спонтанно, а осознание его пришло намного позже. В наши дни, когда более половины детей в стране рождаются вне брака («брак»: я только сейчас заметил двойной смысл), пары объединяет не столько супружество, сколько недвижимость. Дом или квартира становится не менее (а порой и более) коварной ловушкой, чем свидетельство о браке. Недвижимость диктует образ жизни и ненавязчиво предлагает его поддерживать. Недвижимость требует постоянной заботы и внимания; это как бы материальная демонстрация брака, существующего на данной площади.

Зато Сьюзен, как я отчетливо видел, не была объектом заботы и внимания. И речь сейчас не о сексе. Вернее, не только о нем.

* * *

Тут требуются некоторые объяснения. На всем протяжении нашего романа мне просто не приходило в голову, что мы «обманываем» Гордона Маклауда, мистера СБ. Мне не приходило в голову припечатать его занятым словцом из старинной жизни: «рогоносец». Я, понятное дело, вовсе не жаждал, чтобы он о нас *узнал*. Но все, что происходило между мной и Сьюзен, было, с моей точки зрения, нашим личным делом и никоим образом его не касалось. По отношению к нему я не испытывал ни презрения, ни высокомерия молодого бычка, резвящегося – не то что он – с его женой. Вы, наверное, решите, что это заурядный самообман заурядного любовника, но я с вами не соглашусь. Даже когда ситуация... изменилась и я начал относиться к нему по-другому, эта сторона дела осталась неизменной. Он был сам по себе, понимаете?

* * *

Сьюзен, сочтя, вероятно, что я недооцениваю ее подругу Джоан, когда-то с мягким укором сказала, что история любви у каждого своя. Охотно приняв это на веру, я порадовался такому подарку судьбы, который выпадает всем и каждому, но при этом укрепился в мысли, что ни одной живой душе не досталось подарка, равноценного моему. При этом я вовсе не стремился вызнать, была ли у Сьюзен в прошлом своя история любви с Джеральдом или с Гордоном, а в настоящее время – со мной. Вместила ли ее жизнь одну, две или три подобные истории.

* * *

Сию я как-то вечером у Маклаудов. Время позднее. Маклауд, приговоривший свои баллоны и галлоны, уже лег спать и храпит, как трактор. Мы со Сьюзен сидим на диване и наслаждаемся записью концерта, который недавно слушали в Ройял-Фестивал-Холле. Взглядом я выдаю все свои намерения и желания.

– Нет, Кейси. Только поцелуй едва-едва.

Такой поцелуй – это едва-едва заметное касание губами, она даже не разругивалась. Зато мы держимся за руки.

– Не хочется уходить, – жалея себя, говорю я. – Ненавижу свой дом.

– Тогда зачем называть его своим?

– Не важно. Я хочу остаться здесь.

– У нас в саду можно мигом соорудить палатку. В гараже наверняка завалялся ненужный брезент.

– Ты же понимаешь, о чем речь.

– Я прекрасно понимаю, о чем речь.

– Давай я потом выпрыгну из окна.

– Тебя арестует первый же патрульный. А после этого нас пропечатают в «Эдвертайзер энд газетт». – Сьюзен помолчала. – Знаешь что... Этот диван элементарно преобразуется в кровать. Уложим тебя здесь. А если СБ столкнется с тобой перед уходом на работу, мы скажем, что...

И тут звонит телефон. Сьюзен подходит, слушает, говорит «да», мрачнеет и накрывает трубку ладонью.

– Тебя.

Это моя мать, кто же еще: спрашивает, где я нахожусь, – вопрос

бессмысленный, поскольку в телефонном справочнике, куда она наверняка заглянула, рядом с номером телефона указан адрес. Кроме того, она желает знать, в котором часу я вернусь.

– Я, – отвечаю, – немного устал. Переночую здесь: мне отвели диван-кровать.

В последнее время она то и дело слышала от меня вопиющую ложь, но вопиющая правда – это уже чересчур.

– Ни в коем случае. Через шесть минут я за тобой заеду. – И бросает трубку.

– Через шесть минут она заедет.

– Боже правый! – ужасается Сьюзен. – Как ты считаешь, не предложить ли ей стаканчик хереса?

В течение пяти минут и сорока пяти секунд мы хохочем, а потом слышим, как у дома тормозит автомобиль.

– Ступай, грязный потаскун, – шепчет она.

За рулем сидела моя мать в розовом халате, накинутом поверх розовой ночной рубашки. Я не проверял, но сдается мне, на ногах у нее были розовые домашние тапочки. Она до половины выкурила сигарету и, перед тем как включить передачу, щелчком бросила тлеющий окурок на подъездную дорожку Маклаудов.

За время короткой поездки мое настроение изменилось от наглого безразличия до ярости, смешанной с унижением. В машине висело английское молчание, при котором все невысказанные слова безошибочно понимаются обеими сторонами. Я лег в постель; меня душили рыдания.

* * *

Тот случай больше не упоминался. Сьюзен была достаточно наивна и, что самое удивительное, даже не пыталась этого скрывать. Мне кажется, притворство вообще противоречило ее природе. А кроме того... ладно, потом.

Но вот, к примеру, однажды она сказала (не помню, в какой связи), что, скорее всего, не легла бы со мной в постель, если бы не знала, сколь необходима мужчине «сексуальная разрядка». От разговоров того времени в памяти сохранилось лишь это незатейливое выражение.

За которым, очевидно, крылась не столько наивность, сколько невежественность. Или, если угодно, народная мудрость, или патриархальная промывка мозгов. И я призадумался. Не следовало ли

отсюда, что она не желала меня так же сильно, как я вождедел ее – постоянно, хронически, испепеляюще? Что секс означал для нее нечто иное, чем для меня? Что она уступала мне исключительно по медицинским показаниям – чтобы я не взорвался, как паровой котел или автомобильный радиатор, если не получу требуемой «разрядки»? И существует ли нечто подобное в женской сексуальной психологии?

Позже я задался другим вопросом: если таковы ее представления о мужской сексуальности, то как они соотносятся с ее мужем? Неужели она никогда не задумывалась, что ему тоже необходима «разрядка»? Возможно, конечно, что она увидела, как он взрывается, и поняла, каковы будут последствия. А может, СБ пользовался услугами лондонских проституток или передней частью маскарадного слона? Как знать? Быть может, этим и объяснялись его странности.

Его странности, ее невинность. Естественно, я не стал ей объяснять, что молодые парни, лишённые женского общества, не испытывают никаких трудностей в плане «сексуальной разрядки», поскольку все без исключения, как подсказывает мой опыт, запросто обеспечивают ее сами, вручную: так было, есть и будет.

* * *

Ее невинность, моя самонадеянность, ее наивность, моя пошлость. Мне нужно было возвращаться в университет. Я подумал, что для смеха можно сделать ей прощальный подарок: большую толстую морковку. Просто шутки ради, чтобы насмешить; Сьюзен всегда смеялась в ответ на мой смех. В овощной лавке мне пришло в голову, что еще смешнее будет пастернак. Мы поехали кататься, и я, воспользовавшись остановкой, вручил ей этот корнеплод. Даже не улыбнувшись, она швырнула его через плечо, и он с глухим стуком шлепнулся на заднее сиденье. Этот миг запомнился мне на всю жизнь; краснеть я давно разучился, но сейчас покраснел бы, сохранись у меня такая способность.

* * *

Мы устроили себе небольшой отдых. Ценой каких-то измышлений (точно уже не помню) сумели урвать для себя несколько дней истины наедине. Сезон отпусков давно закончился. Мы поехали на южное

побережье. Память не сохранила названия гостиницы: вероятно, мы сняли квартиру. Все наши слова и мысли друг о друге, все открытия нынче забылись. Помню широкую пустую скамью где-то на пляже. Видимо, в Кэмбер-Сэндс. Мы фотографировали друг друга моей камерой. Я позирую, делая стойку на песке. Сьюзен в пальто, ветер треплет ее волосы, открывая лицо, а руки в больших черных перчатках из искусственного меха придерживают воротник. За спиной у нее ряд пляжных домиков и одноэтажное кафе с наглухо закрытыми ставнями. Человеческого присутствия не ощущается. При желании можно рассмотреть эти снимки, чтобы поточнее определить сезон и, конечно, погоду. Для меня с расстояния стольких лет ни то, ни другое не играет роли.

Еще одна деталь: я при галстукe. Чтобы сделать стойку на руках, снял пиджак. Галстук падает прямо на мое перевернутое лицо, заслоняя нос и разрезая меня пополам. На правую сторону и левую.

* * *

В то время почта на мое имя приходила крайне редко. Открытки от друзей, какие-то уведомления из университета, выписки по банковскому счету.

– Штемпель местный, – сказала мать, протягивая мне конверт.

Адрес был отпечатан на машинке, а после моей фамилии стояло лестное «эсквайр».

– Спасибо, мам.

– Смотреть будешь?

– Обязательно, мам.

Недовольно сопя, она вышла.

Письмо было от секретаря правления теннисного клуба. В нем сообщалось, что мое временное членство прекращено с момента отправки данного уведомления. И далее: «ввиду сложившихся обстоятельств» уплаченные мною членские взносы возврату не подлежат. Сущность «обстоятельств» не уточнялась.

Мы со Сьюзен договорились встретиться в клубе, чтобы сыграть с кем-нибудь микст. После обеда, взяв ракетку и спортивную сумку, я собрался уходить.

– Что хорошего пишут? – задержала меня мать.

Я помахал зачехленной ракеткой:

– Это из теннисного клуба. Предлагают мне постоянное членство.

– Как приятно, Пол. Твоя игра, надо думать, всем пришлась по нраву.

– Да, похоже на то.

Подъезжаю к дому Сьюзен.

– И мне пришло, – говорит она.

Ей направили примерно такое же письмо, только в более резких тонах. Вместо прекращения членства «ввиду сложившихся обстоятельств» говорилось «ввиду известных Вам вопиющих обстоятельств». В таких выражениях впору обращаться к Иезавель, ^[7] к распутнице.

– Сколько лет ты состоишь в клубе?

– Лет тридцать. Плюс-минус.

– Прости. Это все из-за меня.

Она мотает головой.

– Будем подавать протест?

Нет.

– Хочешь, я сожгу этот клуб?

Нет.

– Нас выследили?

– Хватит вопросов, Пол. Мне надо подумать.

Сажусь рядом с ней на обитый ситцем диван. Не хочу признаваться, во всяком случае до поры до времени, но в глубине души чувствую, как это известие приятно щекочет мне нервы. Я... мы... в центре скандала! В который раз любовь становится жертвой ограниченных, мелких чинуш! Наше исключение, возможно, и не стало Препятствием, которое разжигает Страсть и закаляет Любовь, но моральное и общественное осуждение, сквозящее во фразе «ввиду сложившихся обстоятельств», заверяет подлинность наших отношений. А кто бы отказался получить документальное заверение своей любви?

– Можно подумать, нас застукали в высокой траве за изгородью.

– Да помолчи же, Пол.

Сижу тихо, а в мыслях – ураган. Пытаюсь вспомнить, за что исключали мальчишек из нашей школы. Один насыпал сахара в бензобак директорской машины. От второго забеременела подружка. Третий, напившись после матча в крикет, помочился в купе поезда и дернул за шнур вызова проводника. В то время каждый из этих проступков считался весьма серьезным. Но мое собственное прегрешение волновало мне кровь, наполняло ликованием и, самое главное, давало ощущение зрелости.

– Ага, явился, голубчик! – Такими словами через пару дней встретила меня Джоан; я нагрязнул к ней без предупреждения. – Обожди тут, я пустолаек своих запру.

Дверь захлопнулась у меня перед носом. Стоя перед видавшим виды скребком для обуви, я думал о том, что после исключения из теннисного клуба между мной и Сьюзен пролегла трещина. Мое торжество оказалось слишком явным, и это ее отвратило. Она сказала, что все еще «раздумывает». Мне было невдомек, о чем тут можно раздумывать. По словам Сьюзен, я не понимал возникших сложностей. Мне было велено не показываться до выходных; и я досадовал, словно ожидая суда за преступление, которого не совершал.

– Садись, – скомандовала Джоан, когда мы вошли в прокуренную, пропахшую джином берлогу, номинально считавшуюся гостиной. – Налить тебе для храбрости?

– Да, пожалуйста.

Джин я не пил – не переносил его запаха и наутро чувствовал себя хуже, чем после вина или пива. Но сейчас не хотел выглядеть ханжой.

– Вот и молодец. – Она передала мне полный стакан со следами губной помады на ободке.

– Это много, – сказал я.

– Мы же не в пабе, чтоб мензуркой отмерять, – бросила она.

Я пригубил густую, маслянистую, тепловатую жидкость, запахом нисколько не напоминавшую ягоды можжевельника. Джоан закурила и выпустила дым в мою сторону, будто подтолкнув.

– Итак?

– Итак. Если коротко. Вы, наверное, слышали, что произошло в теннисном клубе.

– Деревня звонит во все колокола. Барабаны отбивают дробь.

– Я думал, вы...

– Послушай, юноша. Во-первых, никаких подробностей я знать не желаю. Во-вторых, чем могу быть полезна?

– Спасибо вам. – Ее слова меня тронули, но вместе с тем и озадачили. Как можно быть полезной, не зная подробностей? И что считать подробностями? Я задумался.

– Ну же. О чем ты хотел попросить?

В том-то и дело. Я и сам не знал, о чем ее просить при встрече.

Почему-то мне казалось, что стоит только увидеть Джоан, как просьба слетит с языка сама собой. Или станет понятна без слов. Но ни того ни другого не произошло. Запинаясь, я пустился в объяснения. Джоан кивала,

позволяя мне прихлебывать джин и не торопиться. А потом сказала:

– Задай мне первый вопрос, который придет тебе в голову.

Я без колебаний выпалил:

– Как по-вашему, Сьюзен уйдет от мистера Маклауда?

– Ну и ну, – спокойно сказала она. – Ишь куда замахнулся. Наглость удивительная. А еще говорят, нельзя торопить события.

Приняв ее слова за комплимент, я идиотически ухмыльнулся.

– А ее ты спросил?

– Нет, что вы.

– Но прежде всего, откуда ты возьмешь деньги?

– Деньги меня не интересуют, – отрезал я.

– Потому что тебе никогда не приходилось зарабатывать.

Действительно, только не в том смысле, что я был богат. Среднюю школу я закончил на общих основаниях и получил муниципальную стипендию для обучения в университете. На каникулах жил дома. Но деньги меня и вправду не интересовали: более того, в моей картине мира заботы о деньгах означали намеренный уход от самых важных жизненных ценностей.

– Если хочешь повзрослеть, – сказала Джоан, – научись думать повзрослому. И прежде всего – о деньгах.

Я вспомнил, что мне рассказывали о юности Джоан: «содержанка» или что-то в этом духе – денежные подачки, съемная квартира, дареная одежда, оплаченные поездки.

И это она называла взрослением?

– Мне кажется, у Сьюзен есть кое-какие средства.

– А ты у нее спрашивал?

– Нет, что вы.

– А не помешало бы.

– У меня есть резервный фонд на случай побега, – задиристо выпалил я, умолчав о его происхождении.

– И сколько же монеток звенит у тебя в копилке?

Как ни странно, я никогда не обижался на слова Джоан.

Она только с виду резкая, думалось мне, а по сути добрая и всегда на моей стороне. Впрочем, влюбленным всегда кажется, что окружающие на их стороне.

– Пятьсот фунтов, – гордо отчеканил я.

– Ну что ж, устроить побег на эти деньги можно. Недельку-другую перекантуетесь у меня в Ле-Туке-Пари-Плаж, если пообещаете не соваться в казино. А после – бегом в Англию.

– Отлично.

Что еще за Ле-Туке-Пари-Плаж? Рай для беглых любовников?

– Ты ведь в следующем месяце вернешься к учебе, верно?

– Да.

– А ее поселишь в кухонном шкафу? Или в платяном?

– Нет.

Я почувствовал себя непроходимым идиотом. Неудивительно, что Сьюзен так долго «раздумывала». Неужели я попросту вообразил себе романтическое приключение, стремянку без ступенек?

– Это задачка посложнее, чем высчитывать мою экономию на джине и бензине.

Меня с грохотом опустили на землю, как и рассчитывала, по всей видимости, Джоан.

– А можно спросить вас кое о чем другом?

– Валяй.

– Зачем вы жульничаете, когда решаете кроссворды?

Джоан в голос расхохоталась:

– Вот наглец. Понятное дело, это Сьюзен выболтала. Что ж, вопрос резонный. Могу ответить. – Она глотнула еще джина. – Видишь ли, ты сам, хочу верить, никогда не окажешься в такой точке, где все тебе будет побоку. На все будет насрать. А в качестве одного из немногих утешительных призов получишь возможность не угодить в ад за левые ответы в кроссвордах. Поскольку тот, кто уже побывал в аду и выкарабкался, слишком хорошо понимает, как дорого это обходится.

– Но ведь правильные ответы даны в конце сборника.

– Видишь ли, в моем понимании это и есть жульничество.

Я проникся к ней неизъяснимой теплотой.

– Не могу ли я что-нибудь для вас сделать, Джоан? – невольно вырвалось у меня.

– Просто не обижай Сьюзен.

– Да я скорее горло себе перережу.

– Правильно. Мне даже кажется, что это всерьез. – Она улыбнулась. – Ладно, отправляйся восвояси, да не вздумай лихачить. Я вижу, тебя пока еще слегка развозит от джина.

Не успел я включить зажигание, как в окно машины постучали. Оказалось, за мной бесшумно последовала Джоан. Я опустил стекло.

– Сейчас о тебе поползут сплетни – плюй на все, – выговорила Джоан, глядя на меня в упор. – Про меня, к примеру, добрые соседки говорят: отставная лесбиянка, с собаками живет. То есть ко всему еще и неудачница.

Да только брань на ворота не виснет. Вот и весь мой совет – если не погнушаешься.

– Спасибо за джин, – сказал я и отпустил ручной тормоз.

* * *

Джоан рекомендовала мне повзрослеть. Я готов был попробовать – лишь бы это пошло на пользу Сьюзен, но все же холодел от ужаса. Во-первых, я был вовсе не уверен, что взрослость легкодостижима. Во-вторых, если даже она достижима, я был вовсе не уверен, что она желательна. В-третьих, даже если она желательна, то лишь в сравнении с детством и отрочеством. Что меня отвращало и отталкивало от взрослой жизни? Ну, если кратко, то вступление в какие-то новые права, чувство превосходства, убежденность в собственной правоте, а то и мудрости, убийственная банальность взрослых суждений, женская привычка пудриться на людях, мужская привычка разваливаться в кресле, широко расставив ноги, так что под брюками четко вырисовывается все хозяйство, разговоры о грядках и садоводстве, очки, что сидят у них на носу, и очки, которые они смехотворно пытаются набрать в разговоре, пьянство, курение, громкий, хриплый кашель, искусственные ароматы, маскирующие животную вонь, мужские лысины и залитые лаком женские шиньоны, отвратительные потуги на секс, безоговорочное подчинение этикету, сварливое отторжение всякой сатиры и пытливости, убежденность в том, что успехи детей измеряются успешным копированием родительского образа жизни, оглушительные выражения согласия, бахвальство своим кулинарным искусством и дегустацией новых блюд, пристрастие к ненавистным для меня продуктам (включая оливки, маринованный репчатый лук, индийский соус чатни, пикули, хрен, зеленый лук, маргарин, вонючие сыры и бутербродную пасту «мармайт»), самодовольство и чувство расового превосходства, манера пересчитывать мелочь, манера ковырять в зубах, манера изображать отсутствие достаточного интереса к моей персоне и манера проявлять ко мне чрезмерный интерес, когда мне это претит. Это лишь краткий перечень, никак, естественно, не касавшийся Сьюзен.

Да, и кое-что еще. Манера (несомненно, диктуемая атавистическим страхом признаться в истинных чувствах) иронизировать над эмоциональной стороной жизни, сводя отношения полов к пошлой расхожей шутке. Мужская манера утверждать, что миром правят женщины, женская манера утверждать, что мужчины не видят дальше своего носа.

Претензии мужчин на звание сильного пола, призванного лелеять, нежить и окружать заботой женщин; претензии женщин на здравый смысл и практичность, без оглядки на обширный гендерный фольклор. Манера лиц обоего пола напыщенно утверждать, что им по-прежнему не обойтись друг без друга. И с ними плохо, и без них никак. И приходится жить с ними в браке, но брак – это, как известно, институт, а именно – психиатрический научно-исследовательский институт. Кто первым так сострил: мужчина или женщина?

Стоит ли удивляться, что от всего перечисленного мне хотелось держаться подальше. А точнее, хотелось верить, что все это не про меня; я даже уверовал, что смогу волевым усилием поставить стену между собой и этим списком.

В общем, когда я говорил: «Мне девятнадцать лет!» – и родители торжествующе подхватывали: «Вот именно, *всего* девятнадцать!» – торжествовал и я, мысленно повторяя: слава богу, что мне «*всего*» девятнадцать.

* * *

Первая любовь накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь, в этом я с течением времени убедился. Возможно, она не перевесит будущие влюбленности, но на них всегда будет падать ее свет. Она способна послужить как примером, так и контрпримером. Она способна заслонить собой следующие влюбленности, но может и облегчить их, и возвысить. Впрочем, бывает и так, что первая любовь ранит сердце, и тогда, как его потом ни исследуй, найдешь в нем только рубцы от старых ран.

«Мы были судьбой предназначены друг для друга». Кажется, я уже говорил, что в судьбу не верю. Но верю в то, что у первой встречи будущих любовников уже есть своя длительная предыстория, делающая возможным лишь определенный исход. При этом сами любовники воображают, будто весь мир перестраивается под них, открывая безграничные новые возможности.

А первая любовь всегда существует в безграничном первом лице. Да и может ли быть иначе? А кроме того, в безграничном настоящем времени. Мы не сразу осознаем присутствие других лиц и других времен.

Итак (весьма вероятно, что это произошло ранее, но вспомнилось только сейчас): в один прекрасный день я иду к ней в гости. Мне известно, что с пятнадцати часов, когда уходит вороватая экономка, и до возвращения

мистера СБ в нашем распоряжении будет три с половиной часа и что Сьюзен будет ждать меня в постели. Я еду в Деревню, паркуюсь и пешком иду по Даккерс-лейн. Ничуть не смущаясь. Чем больше неодобрительных соседских взглядов, реальных или воображаемых, тем лучше. Я не крадусь к задней калитке, ведущей в сад, а открыто сворачиваю на подъездную дорожку, где под ногами хрустит гравий, хотя мог бы бесшумно, по-прелюбодейски, ступать по траве. Дом построен из красного кирпича, в плане симметричный, с центральным крыльцом, над которым располагается узкая спальня Сьюзен. По обеим сторонам крыльца есть архитектурный декор: каждый четвертый ряд кладки выступает вперед на ширину половины кирпича. На призывную пару дюймов, как мне сейчас видится: чтобы подтянуться на руках и упереться ногами.

Любовник в роли вора-домушника? А почему бы и нет? Дверь черного хода предусмотрительно оставлена незапертой. Но пока я шагаю к крыльцу, меня захлестывает самоуверенность любовника, и я прикидываю, что, подпрыгнув, сумею преодолеть метра три отвесной стены и взобраться на плоский оцинкованный козырек над входом. Я разбегаюсь, поощряемый бравадой, страстью, приличным глазомером и недурной координацией движений. Раз-два – и вот я уже на оцинкованном козырьке. Наделал достаточно шума, чтобы выманить Сьюзен к окну: ее тревога сменяется радостным изумлением. Другая стала бы выговаривать мне за безрассудство, твердить, что я мог сломать себе шею, выплескивать свои страхи и заботы – короче, делать из меня глупого, кругом виноватого мальчишку. А Сьюзен решительно поднимает раму и тянет меня в комнату.

– Если Придет Капут, – задыхаясь, говорю я, – можно будет ретироваться тем же путем.

– При большом везении.

– Я мигом – сгоняю вниз, запру дверь.

– Предусмотрительный мой, – говорит Сьюзен, возвращаясь в свою односпальную кровать.

Кстати, она права. Я и в самом деле предусмотрителен. Это, по-видимому, часть моей предыстории. А кроме всего прочего, именно так можно было ответить Джоан: ради Сьюзен я готов даже повзрослеть.

* * *

Я – мальчишка; она – замужняя женщина средних лет. На моей стороне цинизм и мнимое знание жизни, но вместе с тем я идеалист,

убежденный, что мне достанет и воли, и могущества, чтобы решить любую проблему.

А она? В ней нет ни цинизма, ни идеализма; она живет, не зная смятения мыслей, и решает проблемы по мере их поступления. Легко смеется, и подчас этот смех дает ей возможность не думать, избегать очевидных, болезненных истин. Но почему-то у меня такое ощущение, что она ближе, чем я, стоит к реальности.

О нашей любви мы не говорим; мы просто знаем: она, бесспорно, есть, она – именно то, что есть между нами, а все остальное будет неизбежно и справедливо проистекать из этого факта. Повторяем ли мы в качестве подтверждения «Я тебя люблю»? С расстояния прожитых лет я уже не уверен. Зато хорошо помню, как, заперев дверь черного хода, я забираюсь к ней в постель и слышу шепот: «Помни: самое уязвимое место – середина».

* * *

А еще мне не дает покоя слово, которое бросила в разговоре Джоан, как бетонную глыбу в рыбный садок: практичность. За свою жизнь я не раз наблюдал, как супруги не находят в себе сил разорвать неудачный брак, продолжить или даже начать роман, отговариваясь одной и той же фразой. «Это непрактично», – устало повторяли они. Слишком уж далеко, расписание поездов неудобное, рабочие часы не совпадают; да и потом: ипотека, дети, собака плюс совместное владение имуществом. «Ума не приложу, как поделить коллекцию грампластинок», – сказала мне как-то одна замужняя женщина, цеплявшаяся за свое прошлое. В пору любовной эйфории супруги объединили свои коллекции грамзаписей, избавившись от дубликатов. А как теперь отыграть назад, чтобы ничего не нарушить? Вот она и осталась; через некоторое время искушение уйти отступило, и коллекция грампластинок вздохнула с облегчением.

Но в ту пору я с категоричностью молодости считал, что любовь не имеет ничего общего с практичностью – это, по сути дела, совершенно противоположные материи. А то, что любовь высказывает презрение к банальностям, – так в этом часть ее великолепия. Любовь по природе своей разрушительна, апокалиптична; иначе это не любовь.

Вы можете спросить: так ли уж глубоко было мое понимание любви в возрасте девятнадцати лет? Любой суд, вероятно, счел бы, что источниками моего понимания стали немногочисленные книги и фильмы, болтовня с приятелями, пьянящие сны и навязчивые фантазии о девочках-

велосипедистках, а также отношения с моей первой подружкой. Но девятнадцатилетнее эго тут же поправило бы судей: «понимание» любви приходит позже, «понимание» любви граничит с «практичностью», «понимание» любви – признак остывшего сердца. Восторженный любовник не стремится «понимать» любовь, он хочет ею жить, чувствовать ее напряженность, фокусировку всех вещей, ускорение жизненных ритмов, оправданный эгоцентризм, плотский азарт, возвышенную радость, спокойную серьезность, горячее желание, уверенность, простоту, истину, истину и еще раз истину любви.

Истина и любовь – таково было мое кредо. Я люблю – и вижу истину. Не надо усложнять.

* * *

Оказались ли мы «искушенными» в сексе? Понятия не имею. Мы об этом не думали. Отчасти потому, что любой секс хорош по определению. Но также и потому, что мы почти не заговаривали на эту тему – ни до того, ни во время, ни после; мы отдавались друг другу и верили, что так выражается наша взаимность, хотя физиологически и мысленно получали, наверное, удовлетворение разного порядка. После того как она упомянула свою предполагаемую фригидность и я с высоты своего значительного сексуального опыта легко отмахнулся от этого утверждения, мы больше не возвращались к данному вопросу. Иногда после завершения она шептала: «Хорошая игра, партнер». А иногда – уже серьезнее, с тревогой: «Прошу тебя, не ставь пока на мне крест, Кейси-Пол». Я не знал, что на это ответить.

Временами (подчеркну: только не в постели) она говорила:

– Конечно, у тебя будут девушки. И это правильно, это справедливо.

Но у меня не было ощущения, что это правильно, или справедливо, или хоть сколь-нибудь уместно.

Был еще случай: она упомянула некую цифру. Не помню, в каком контексте, а саму цифру не помню тем более, но мало-помалу до меня дошло: а ведь Сьюзен, должно быть, сообщила, сколько раз мы занимались любовью.

– Ты ведешь учет?

Сьюзен кивнула. И опять я впал в ступор. Неужели от меня ожидалось то же самое? И если так, то что именно мне полагалось брать на заметку: сколько раз мы вместе ложились в постель или сколько у меня было

оргазмов? Но мне это было совершенно неинтересно; я даже не понимал, как такое могло прийти ей в голову. Мне виделся в этом некий фатализм: как будто она хотела сохранить что-то осязаемое, исчисляемое на тот случай, если я вдруг исчезну.

* * *

Когда она вновь завела разговор о моих будущих девушках, я четко и ясно заявил, что она останется в моей жизни навсегда: при любом раскладе ее место не займет никто.

– А где ты меня поселишь, Кейси-Пол?

– В самом крайнем случае – на теплом чердаке.

Я, конечно, выразился фигурально.

– Как старый хлам?

Этот разговор начал меня раздражать.

– Нет, – повторил я, – ты всегда будешь со мной.

– У тебя на чердаке?

– Нет, у меня в сердце.

Я говорил искренне. Честное слово, я говорил искренне. Всю жизнь.

И не подозревал, что ее раздражает тревога. Откуда мне было знать? Я думал, тревога засела только во мне. Но теперь понял – к сожалению, запоздало, – что тревогой терзается каждый. Нам, смертным, от нее никуда не деться. У нас есть нормы поведения, помогающие унять ее или притупить, есть шутки, заученные реплики, привычки и множество способов отвлечься и развеяться. Но в каждом из нас, я убежден, затаились смятение и тревога, готовые в любой момент вырваться наружу. Я был свидетелем того, как они вырывались из груди умирающих последним мятежом против человеческого удела с его неизбывной скорбью. Тревога живет в каждом из нас, даже в самых уравновешенных и разумных. Она только выжидает удобного случая, чтобы себя проявить. И после этого ты оказываешься в ее власти. Одних тревога подталкивает к Богу, других к отчаянию, одни с головой уходят в благотворительность, другие в пьянство, одни погружаются в эмоциональную отрешенность, а другие выбирают для себя такой образ жизни, который, по их мысли, ограждает человека от серьезных потрясений.

* * *

Хотя нас изгнали из теннисного клуба, как Адама и Еву из рая, ожидаемого скандала так и не случилось. С амвона церкви Святого Михаила нас не предали анафеме, в «Эдвертайзер энд газетт» не опубликовали разоблачений. Мистер Маклауд, казалось, пребывал в неведении; мисс Б. и мисс НТ находились в то время за границей. Мои родители ни словом не обмолвились о происшедшем. Иными словами, с типично английским сочетанием безучастности (подлинной или притворной) и смущения все помалкивали о случившемся, за исключением Джоан, которую я сам втянул в беседу. Возможно, Деревня и вправду была во все колокола, да только никакого отклика не последовало.

Я испытал облегчение, но вместе с тем и разочарование. В чем же заслуга и радость возмутительного поведения, если люди отказываются возмущаться, кроме как за закрытыми дверями? А полегчало мне оттого, что «раздумья» Сьюзен завершились. Другими словами, мы сделали глубокий вдох и снова оказались в одной постели, рискуя, как и прежде. Я гладил ее ушные раковины и постукивал ногтем по кроличьим зубкам.

А однажды, вознамерившись доказать, что между нами все осталось без изменений, я подтянулся на кирпичном выступе, запрыгнул на козырек крыльца и проник через окно в ее спальню. И как выяснилось, у Сьюзен тоже был резервный фонд на случай побега. Несколько более пятисот фунтов.

* * *

Я все время повторяю, что мне было девятнадцать. Но некоторые случаи, о которых я уже поведал, произошли, когда мне стукнуло двадцать, а то и позднее. События эти разворачивались на протяжении двух с лишним лет и в основном во время моих студенческих каникул. А в учебное время Сьюзен нередко приезжала ко мне в Сассекс или же я навещался к Маклаудам. Семья Маклауд жила всего в шести минутах езды от дома моих родителей, которых я никогда не извещал о своем приезде. Обычно я выходил из поезда на предыдущей станции, где Сьюзен встречала меня на «остине». Ночевал на диване, и мистер Маклауд вроде бы не возражал против моего присутствия. В Деревню я не выбирался, хотя иногда у меня возникала идея сжечь теннисный клуб – в память о недавнем прошлом.

Сьюзен познакомилась с моими сассекскими друзьями, и время от времени Эрик, Иэн, Барни или Сэм тоже останавливались у Маклаудов.

Возможно, это делалось для прикрытия – столько воды утекло с тех пор, что я уже не помню. Все мои друзья одобряли наши со Сьюзен отношения. Когда дело доходило до отношений – любых, в сущности, отношений, – мы стояли друг за друга горой. Кроме того, в доме Сьюзен можно было обходиться без церемоний. Нас она кормила до отвала, и это тоже не могло не радовать. В то время мы были вечно голодны и к тому же до смешного беспомощны в вопросах кулинарии.

Как-то в пятницу (да, кажется, в пятницу), когда мистер Маклауд жевал зеленый лук, я крутил в руках нож и вилку, а Сьюзен подавала жаркое, муж спросил ее с большей, чем обычно, долей сарказма:

– Осмелюсь полюбопытствовать: скольких же сладких мальчиков ты собираешься ублажать в эти выходные?

– Дай сообразить, – ответила Сьюзен, остановившись с блюдом в руках и якобы размышляя над его вопросом. – Думаю, в этот раз будут только Иэн с Эриком. Ну и, разумеется, Пол. Если, конечно, не присоединятся все остальные.

Я подумал, что это просто потрясающий ответ. А потом мы как ни в чем не бывало поужинали.

Но на следующий день, когда мы с ней ехали в машине, я спросил:

– Он всегда меня так называет? Нас всех?

– Да. Ты мой сладкий мальчик.

– Не такой уж и сладкий. Временами я очень даже пресный.

Но мне стало обидно. Обидно за нее, понимаете? Самому-то мне, в принципе, было ни жарко ни холодно. Нет, правда, в чем-то мне это даже польстило. Любое внимание – пусть даже насмешливое – лучше равнодушия. А молодому человеку, в конце концов, нужна хоть какая-то репутация...

* * *

Я постарался собрать воедино все, что было мне известно о Маклауде. У меня больше не получалось мысленно именовать его мистер СБ, Ветхий Адам или Глава Стола. Звали его Гордон, однако Сьюзен произносила это имя только в рассказах о далеком прошлом. Выглядел он на несколько лет старше ее, так что было ему, видимо, пятьдесят с лишним. Он подвизался на государственной службе – я не спрашивал, в каком департаменте. На протяжении многих лет у него не было близости с женой, хотя в прежние времена, когда он еще звался Гордоном, дело обстояло иначе, и

доказательством тому стали две дочери. Свою жену он объявил фригидной. Возможно, его привлекала передняя часть маскарадного слона. Но это не точно. Он придерживался убеждения, что полиция и армия призваны расстреливать толпы бунтарей-коммунистов. Жена давно забыла, какие у него глаза, во всяком случае вблизи. Играя в гольф, он с откровенной ненавистью бил по мячу. Увлекался комическими операми Гилберта и Салливана. Ловко изображал расхристанного, но работающего садовника, хотя, как говаривал его родной отец, по натуре был несносен, как ядовитый плющ. Отдыхать он не любил и никогда не брал отпуск. Выпивал. Не любил посещать концерты. Мастерски разгадывал кроссворды, вписывая ответы своим педантичным почерком. Друзей в Деревне так и не завел, но, предположительно, общался с кем-то в гольф-клубе, куда я ни разу не заглядывал и заглядывать не собирался. В церковь он не ходил. Читал «Таймс» и «Телеграф». Со мной держался дружелюбно и вежливо, но мог позволить себе и сарказм, и резкость; в целом, я бы сказал, от него веяло равнодушием. Создавалось впечатление, будто он зол на жизнь. И принадлежит к тому поколению, которое при желании можно назвать отработанным.

Но было в нем и нечто другое, что скорее ощущалось, нежели виделось воочию. Складывалось такое впечатление... сам Маклауд, по моему, этого не осознавал... но мне казалось, будто он (более всех прочих) препятствовал моему взрослению. Нисколько не похожий на моих родителей и их знакомых, он даже в большей степени, чем они, воплощал собой ту взрослость, которая вызывала у меня содрогание.

* * *

Несколько разрозненных мыслей и воспоминаний:

– Вскоре после обсуждения шарпевильского расстрела я узнал от Сьюзен, что Маклауд высказался в мой адрес: «вполне приемлемый молодой человек». Падкий на похвалу, как и любой мой ровесник, я принял его слова за чистую монету. А ведь незадолго перед тем он на меня рывкнул, но позже трезво оценил ситуацию, отчего эта ремарка стала для меня еще ценнее.

– Отдаю себе отчет, что никогда не задумывался, как обращаются друг с другом Маклауды в мое отсутствие. Вероятно, считал себя выше этого.

– Отдаю себе отчет и в том, что при моем сопоставлении двух семейств вы могли подумать, будто у нас дома ели с ножа и почесывали

мягкое место. Нет-нет, воспитание у нас не хромало. А нашему повседневному застольному этикету Маклауды могли бы только позавидовать.

– Далее: вопреки моему рассказу, не все родительские знакомые пассивно осуждали мое поколение. Некоторые осуждали агрессивно. Однажды во время каникул мы всей семьей отправились в Саттон – нас пригласили на ужин Спенсеры. Хозяйка дома знала мою мать со студенческих лет; глава семьи, хорохористый коротышка, бельгиец по происхождению, работал в Африке, где, как горный инженер, занимался разведкой и разграблением природных ресурсов по заказу какой-то международной корпорации. Кажется (но не точно), день выдался солнечный, потому что из моего верхнего кармана выглядывали новехонькие зеркальные очки. Я купил их у Барни, который промышлял оптовыми закупками и последующим импортом экзотических товаров для желающих исподволь приобщиться к продвинутой молодежи. Очки эти приехали откуда-то из-за «железного занавеса» – из Венгрии, что ли. Так вот, не успели мы выйти из машины, как Коротышка-Горняк подскочил ко мне и, не обращая внимания на протянутую ему руку, выхватил очки у меня из кармана со словами: «Это просто кусок дерьма». То ли дело, скажем, его собственные вельветовые штаны, джемпер в косичку, перстень и слуховой аппарат.

– Она печет большой торт для «сладких мальчиков». Большой – в смысле широкий и длинный. Когда тесто заливается в форму, его там примерно на палец. Когда же форму вынимают из духовки, оказывается, что бисквит поднялся совсем чуть-чуть: запеченные в нем фрукты, похоже, осели на дно.

Даже я, молодо-зелено, усек, что по кондитерским меркам это полный провал. Но Сьюзен умеет превращать недостатки в достоинства.

– И как же называется такой торт, миссис Маклауд? – интересуется кто-то из «сладких мальчиков».

– «Перевертыш», – отвечает она, переворачивая торт на решетку. – Смотрите: все фрукты поднялись на самый верх.

И раздает нам щедрые куски, которые тут же исчезают.

Думаю, она способна железную болванку превратить в золото.

– Как я уже сказал, мое кредо – истина и любовь. Я любил Сьюзен и видел истину. Но должен признать, что за всю свою жизнь я столько не лгал родителям, как в тот период. Да и почти всем знакомым тоже – ну, может быть, немного меньше. Честен я был только с Джоан.

– Не анализируя свою любовь, со всеми ее «откуда», «почему» и

«зачем», я иногда пытаюсь, наедине с собой, ее прояснить. Это сложно: опыта у меня нет; сердцем, душой и телом я совершенно не готов к полному единению со Сьюзен – к напряженности настоящего, к волнующей неизвестности будущего, к отказу от мелких шероховатостей прошлого.

Лежа в постели у себя дома, пробую выразить чувства словами. С одной стороны (это рефлекс прошлого), любовь ощущается как полное и внезапное избавление от недовольства жизнью. Но в то же время (это рефлекс настоящего и будущего) присутствует и другое ощущение: как будто легкие моей души наполнились чистым кислородом. Такие мысли я, конечно, позволяю себе только в одиночестве. Рядом со Сьюзен я не задумываюсь, каково это – любить ее; мне просто нравится с нею быть. Вот это «с нею быть» просто невозможно облечь в другие слова.

* * *

Сьюзен не возражала, когда я без нее навещался к Джоан, и вообще не ревновала меня к чуть ли не единственной своей подруге, которая, похоже, вписывалась в рамки ее семейной жизни. Я пристрастился к щедрым порциям приобретенного со скидкой джина; через некоторое время Джоан стала пускать в гостиную своих «пустолаек», и я увлеченно следил, как йоркширские терьеры грызут мои шнурки.

– Мы уезжаем, – сообщил я ей в июле.

– Мы? Ты и я? И куда же, мой юный повелитель? Ты уже собрал свои пожитки в узелок из красного платка в горошек и насадил его на палочку?

А я-то думал, она проникнется моим серьезным тоном.

– Сьюзен и я. Все решено.

– Что именно? Куда? Надолго ли? В круиз, наверно? Не забудьте прислать мне открыточку.

– Пришлем, и не одну, – пообещал я.

Как ни странно, наши с Джоан отношения смахивали на флирт. При этом в моих отношениях со Сьюзен даже намек на флирт не было: наверное, мы с ней как-то незаметно преодолели этот подготовительный этап – в нем просто не возникло необходимости. У нас, естественно, были свои шутки, намеки, только нам двоим понятные фразы. Но, думаю, для флирта они казались, и не зря, чересчур серьезными.

– Нет, – сказал я, – не в круиз. Вы же понимаете, к чему я веду.

– Да, я понимаю, к чему ты ведешь. Уже давно заподозрила. В силу

обстоятельств. Отчасти я этого хочу, отчасти нет. Но у вас, милые мои, есть кураж, это точно.

Я не рассматривал ситуацию с точки зрения куража. Я рассматривал ее как неизбежность. И как исполнение наших желаний.

– А как реагирует Гордон?

– Говорит, что я ее сладкий мальчик.

– Странно, что не «сладкий хахаль-трахаль».

Что ж, и это не исключено.

– Не стану говорить «Вы, наверное, знаете, что делаете», поскольку мне предельно ясно, что черта лысого вы оба знаете. И нечего тут физиономию кривить, юный повелитель. Ты в не в том положении. В Лондон намылились, да? Я даже не стану говорить «Береги ее» и прочую чушь. А буду просто держать за вас пальцы крестиком – стисну их до крови.

Джоан вышла меня проводить. Перед тем как сесть за руль, я приблизился к ней почти вплотную. Она выставила вперед ладонь.

– Еще чего – обнимашки тут устраивать. Взяли, мать честная, иноземную манеру. Катись отсюда, пока я слезу не пустила.

На досуге я обдумал все, что она мне сказала и чего не сказала, – пытался понять, нет ли у нее на уме каких-нибудь незаметных для меня параллелей. Ничего вы оба не знаете. Ты не в том положении. Сладкий мальчик, содержанка. А деньги-то чьи? Да, Джоан соображала быстрее меня. Вот только я даже представить не мог, чтобы Сьюзен через три года появилась на пороге у Маклауда, притихшая, эмоционально опустошенная, с мольбой во взгляде и с ощущением полного жизненного краха. Я был уверен, что *такое* просто невозможно.

* * *

У нас не было ни Единовременного Момента Ухода, ни тайного ночного побега, ни официальных проводов, с багажом и маханьем платочками (да и кто бы стал махать?). Было затяжное размежевание, а потому определить точный миг разрыва не представляется возможным. Но я все же решил его обозначить – при помощи записки родителям:

Мама, папа, я переезжаю в Лондон. Жить буду с миссис Маклауд. Почтовый адрес сообщу – как только, так сразу.

Ваш Пол

Похоже, добавить было нечего. На мой взгляд, это «как только, так сразу» звучало по-взрослому. Что ж, я и был взрослым. Двадцати одного года от роду. Готовый безостановочно продолжать, безостановочно выражать, безостановочно проживать свою жизнь. «Я жив! Я живу!»

* * *

Мы прожили вместе (то есть под одной крышей) более десяти лет. Потом я регулярно ее навещал. В последние годы – уже не столь регулярно. Когда несколько лет назад ее не стало, я признал, что самый значимый отрезок моего бытия в конце концов завершился. И пообещал себе никогда не думать о ней плохо.

Вот в таком виде я хотел бы сохранить в памяти минувшие события, будь это в моей власти. Но нет.

Часть вторая

Резервного фонда Сьюзен, скопленного на случай побега, хватило для приобретения скромного дома в Пятнадцатом юго-восточном округе, на Генри-роуд. Цена оказалась приемлемой: о реструктуризации городской среды, о безалкогольных барах еще никто слыхом не слыхивал. Дом прежде находился в совместной собственности – такой эвфемизм предполагал замки на всех дверях, асбестовую панельную обшивку стен, убогую кухоньку между этажами, единоличные газовые счетчики и свои особые пятна в каждой комнате. За оставшиеся дни лета и начало осени мы с жаром посрывали все обои, припорошив себе волосы перхотью дистемперы,^[8] выбросили старый хлам и привыкли спать на широком матрасе, брошенном прямо на пол. Обзавелись тостером и чайником, на обед заказывали еду из киприотской таверны в конце улицы.

Нам потребовались услуги сантехника, электрика и газовщика – все остальное сделали своими руками. Из двух сломанных комодов, накрытых спиленными дверцами платяных шкафов, я соорудил себе письменный стол, отшлифовал, загрунтовал, покрасил, и этот неподъемный монстр прочно обосновался у меня в кабинете. Кроме того, я нарезал по размеру и разложил где нужно циновки из кокосового волокна и закрепил на лестнице ковровую дорожку. Мы вместе отскоблили стены от пожелтевшей, шуршащей бумаги до самой штукатурки, которую в свою очередь покрасили валиками в живые, нетривиальные цвета: бирюзовый, нарциссово-желтый, вишневый. Свой кабинет я выкрасил в приглушенный густо-зеленый цвет, узнав от Барни, что такой колер используется в родильных палатах, дабы успокаивать рожениц. Я надеялся, что в часы напряженного труда он и на меня будет оказывать аналогичное воздействие.

Меня задел скептический вопрос Джоан: «Для начала: как ты собираешься зарабатывать?» Поскольку я не озабочивался этой проблемой, ничто не мешало мне и дальше существовать за счет Сьюзен, но, учитывая, что наши отношения должны длиться вечно, я на каком-то этапе признал, что сам должен ее содержать, а не она меня. Я никогда не спрашивал ее о финансовом положении семейства Маклауд и не интересовался, есть ли у нее пресловутая тетушка, которая когда-нибудь любезно отпишет ей все свое состояние.

Мне показалась перспективной специальность юрисконсульта. Особых

амбиций у меня не было, а все завышенные ожидания лежали в области любви. Юриспруденция привлекала мой организованный ум и старательную натуру, а к тому же законники востребованы в любом обществе, правда ведь? Помню, как одна приятельница изложила мне свою теорию брака: это нечто такое, что позволяет окунаться и выныривать по мере необходимости. Возможно, в таком определении сквозит ужасающая корысть, даже цинизм, но это лишь на первый взгляд. Та женщина любила своего мужа и под «выныриванием из брака» не подразумевала супружескую измену. Напротив, ее афоризм был признанием механики супружества, ведущей темой в басовой партии жизни, под которую можно бежать трусцой, пока не возникнет необходимость «окупаться», чтобы найти поддержку, проявления любви и все остальное. Мне был близок такой подход: зачем требовать больше, чем просит или дает твой темперамент? Но в свете моего тогдашнего понимания жизни мне больше импонировало другое тождество. Работа – это дорога, по которой бежишь трусцой, а любовь – это моя жизнь.

* * *

Я приступил к учебе. По утрам Сьюзен готовила мне завтрак, а по вечерам – ужин, если на обратном пути я не покупал кебаб или шефталю. [9] Иногда она встречала меня песней: «Паренек, ты занят день-деньской». [10] Кроме всего прочего, она относила мои вещи в прачечную-автомат, а потом дома гладила. Мы по-прежнему ходили на концерты и художественные выставки. Брошенный на пол матрас уступил место двуспальной кровати, на которой мы спали вместе каждую ночь, а я еще и корректировал свои представления о любви и сексе, почерпнутые из фильмов. Например, представление о том, что любовники блаженно засыпают в объятиях друг друга, на практике обернулось тем, что один засыпает, навалившись на другого, и тот, кто внизу, измучившись от судорог и онемения конечностей, осторожно высвобождается, стараясь не разбудить ту, что наверху. Вдобавок я узнал, что храпят не только мужчины.

Мои родители не ответили на письмо с новым адресом, и я не стал зазывать их на Генри-роуд. Как-то раз, вернувшись после занятий, я нашел Сьюзен в необычайном волнении. К нам с ознакомительными целями пожаловала Марта Маклауд, мисс Брюзга собственной персоной. От нее не укрылось, что мать, которая в Деревне спала на узкой койке, теперь

обзавелась двуспальной кроватью. К счастью, в моем темно-зеленом кабинете стоял разложенный диван-кровать, не застеленный утром. Впрочем, как заметила Сьюзен, два двуспальных ложа вряд ли могут сойти за одно односпальное. На весьма вероятное недовольство Марты Маклауд организацией наших спальных мест я готов был ответить с вызывающей гордостью. Сьюзен придумала более запутанную версию, хотя в нюансы я, надо признаться, не вникал. В конце-то концов, мы жили вместе, разве не так?

Поднявшись в мансарду, где еще ожидали ремонта две комнаты, Марта, насколько я понимаю, сказала:

– Вам впору жильцов пускать.

Когда Сьюзен замешкалась с ответом, ее дочь выдала не то аргумент, не то инструкцию:

– Надо пользоваться.

В тот вечер мы обсудили, что она хотела этим сказать. Финансовый аргумент в пользу сдачи комнат был признан достаточно веским: мы могли бы практически окупить содержание дома. А как насчет моральных доводов? Вероятно, с появлением жильцов у Сьюзен нашлись бы более осмысленные занятия, чем ожидание бесстыжего любовника. Не исключено, впрочем, что Марта имела в виду нечто другое: жильцы могли бы кое-как разбавить мое наглое присутствие и замаскировать реальное положение дел в доме двадцать три по Генри-роуд, где Сладкий Мальчик Номер Один в открытую сожительствовал с прелюбодейкой более чем вдвое старше его.

Если Марта своим появлением растрожила Сьюзен, то меня по зрелом размышлении она растрожила не меньше. Я не предусмотрел, что Сьюзен придется выяснять отношения с дочерьми. Все мои мысли были устремлены на Маклауда: как увести у него Сьюзен и впоследствии убедить ее с ним развестись. Не только ради нас обоих, но в основном ради нее самой. Чтобы она стерла из своей жизни эту ошибку и обеспечила себе юридическое и моральное право быть счастливой. А быть счастливой означало жить со мной, и только со мной, без каких бы то ни было оков.

* * *

Наш дом стоял на тихой улице; посетители бывали у нас крайне редко. Помню, как-то субботним утром меня отвлек от учебника по гражданскому праву звонок в парадную дверь. Я услышал, как Сьюзен предлагает

незваному гостю – двум незванным гостям, мужчине и женщине – пройти в кухню. Минут через двадцать она сказала, затворяя входную дверь:

– Вам, я уверена, теперь намного спокойнее.

– Кто это был? – спросил я, когда Сьюзен проходила мимо кабинета.

Она заглянула ко мне:

– Миссионеры, черт бы их побрал. Миссионеры. Я дала им возможность облегчить душу и указала на дверь. Пусть обрабатывают кого-нибудь другого, кто готов к обращению в их веру.

– Не *настоящие* миссионеры?

– Это общий термин. Настоящие миссионеры, естественно, хуже всех.

– То есть это были свидетели Иеговы, или Плимутские братья, или баптисты, или кто?

– Или кто. Спросили, не тревожит ли меня состояние этого мира. Обычный вопрос-ловушка. Потом стали нудить по поводу Библии – можно подумать, я о ней никогда не слыхала. У меня чуть не вырвалось, что все это мне давно известно и вообще я – презренная Иезавель, блудница.

Она не стала больше отрывать меня от учебников. А я задумался над такими вот внезапными всплесками эмоций, от которых она становилась мне еще дороже. Я черпал знания из книг, она – из жизни, в который раз подумалось мне.

* * *

Как-то вечером зазвонил телефон. Я снял трубку и, как принято, назвал свой номер.

– Вы кто? – осведомился голос, который, как я мгновенно понял, принадлежал Маклауду.

– А *вы* кто? – Я изобразил небрежную интонацию.

– Гордон Маклауд, – с расстановкой ответил он. – С кем имею честь?

– Это Пол Робертс.

Он бросил трубку, и я сразу пожалел, что не сообразил представиться как «Микки-Маус», или «Юрий Гагарин», или «Главный по Би-би-си».

Рассказывать Сьюзен об этом звонке я не стал. Какой смысл?

* * *

Но через неделю-другую к нам наведалься некий господин,

назвавшийся Морисом. Сьюзен отдаленно его знала. Похоже, он был как-то связан с Маклаудом по работе и, видимо, заранее сообщил Сьюзен о своем появлении. Мне показалось, он специально подгадал время, чтобы застать меня дома. Но за давностью лет точно сказать не берусь: быть может, так совпало.

Я не задал ни одного самоочевидного вопроса. В противном случае у Сьюзен были бы наготове ответы. А может, и нет.

На мой взгляд, было ему около пятидесяти. В своих воспоминаниях я надел на него пальто-тренч и, кажется, широкополую шляпу, а также костюм с галстуком (все это, весьма вероятно, я пририсовал позднее). Держался он едва ли не по-родственному. Пожал мне руку. Согласился выпить чашку кофе, воспользовался туалетом, попросил пепельницу и завел разговор на пустые, общие темы, излюбленные взрослыми. Сьюзен, играя роль гостеприимной хозяйки, приглушила в себе некоторые качества, за которые я особенно ее любил: дерзость и неудержимую смешливость в отношении внешнего мира.

Помню, в какой-то момент разговор коснулся закрытия «Рейнольдс ньюс». На долю этой газеты (полное название – «Рейнольдс ньюс энд санди ситизен») выпали тяжелые времена, ее сократили до воскресного таблоида, а потом и вовсе закрыли – видимо, незадолго до той беседы.

– Мне кажется, это погоды не делает, – сказал я.

Я и в самом деле не усматривал здесь ничего из ряда вон выходящего. Возможно, пару раз мне и попадалась на глаза эта «Рейнольдс ньюс», но от меня не укрылась глубокая озабоченность в голосе Мориса.

– Вы так считаете? – светским тоном переспросил он.

– По большому счету, да.

– А как же плюрализм средств массовой информации? Разве его не следует ценить?

– По мне, все газеты примерно одинаковы; одной больше, одной меньше – невелика разница.

– А вы, часом, не из «новых левых»?

Я посмеялся. Не над его словами, а над ним самим. Что он хочет на меня навесить, мать его так? Кем хочет меня выставить? А сам, между прочим, копия членов правления теннисного клуба у нас в Деревне.

– Нет, политику я презираю, – ответил я.

– Вы презираете политику? Не кажется ли вам, что это не совсем здоровое отношение? Вам удобно прикрываться цинизмом? А чем, по-вашему, можно заменить политику? Прихлопнуть газеты – и прихлопнуть всю нашу политическую деятельность? Прихлопнуть демократию? Мне

видится здесь позиция левака-революционера.

Этот тип начал меня не на шутку раздражать. Я оказался не то чтобы вне сферы своей компетентности, но вне сферы своих интересов.

– Прощу прощения, – сказал я. – Это совсем не так. Но дело, видите ли, в том, – добавил я, глядя на него с удручающей серьезностью, – что я принадлежу к отработанному поколению. Вам может показаться, что мы для этого слишком молоды, но тем не менее: мы – отработанный материал.

Вскоре после этого он ушел.

– Ох, Кейси-Пол, какой ты вредный.

– Я?

– Ты, кто же еще? Он ведь упомянул, что работал в «Рейнольдс ньюс», – разве ты не обратил внимания?

– Нет, я подумал – он шпион.

– Чтоский? Русский?

– Да нет, я считаю, его к нам заслали, чтобы разнюхать, что к чему, а потом написать отчет.

– Не исключено.

– Думаешь, нам стоит беспокоиться?

– В ближайшие два-три дня – наверное, нет.

* * *

Созревает решение: поскольку ты студент, а все твои друзья-приятели, кроме тех, что живут с родителями, платят за жилье, то и тебе нужно последовать их примеру. Спрашиваешь у одного, у другого, сколько с них берут. Выбираешь среднее: четыре фунта в неделю. Вполне приемлемо. Кто получает государственную стипендию, тот может себе это позволить.

В понедельник вечером вручаешь Сьюзен четыре десятки.

– Это что? – спрашивает она.

– Я решил, что должен платить тебе за квартиру, – отвечаешь ей с излишней, наверное, чопорностью. – Примерно такую сумму платят все.

Бумажки летят в тебя. Не совсем в лицо, как показали бы в кино. Они рассыпались по полу. Весь вечер нагнетается молчание, и на ночь глядя ты устраиваешься на диване. Переживаешь, что не проявил деликатности в вопросе квартплаты – почти как в том случае, когда подарил ей пастернак. Всю ночь зеленые банкноты так и валяются на полу. Наутро ты возвращаешь их в бумажник. Эта тема больше не муссируется.

* * *

После визита Марты произошли два события. Комнаты в мансарде были сданы жильцам, а Сьюзен впервые после нашего бегства съездила в Деревню. Сказала, что необходимо и целесообразно время от времени туда наведываться. Как-никак, половина дома принадлежит ей, а она далеко не уверена, что Маклауд будет оплачивать счета и следить за состоянием бойлера (я не понял: почему, собственно? Ладно, не важно). Миссис Дайер, которая по-прежнему ежедневно приходила убирать и поворовывать, обещала держать хозяйку в курсе всех дел, требовавших ее внимания. Сьюзен поклялась, что будет появляться дома только в отсутствие Маклауда. Я ее отпустил, хотя и со скрипом.

* * *

Недавно я сказал: «Вот в таком виде я хотел бы сохранить в памяти минувшие события, будь это в моей власти. Но нет». Кое-что я опустил, но некоторые эпизоды больше откладывать невозможно. С чего же начать? С «читальни», как называлась у Маклаудов одна из комнат на нижнем этаже. Час был поздний, но мне совершенно не хотелось идти домой. Сьюзен, по всей видимости, уже легла спать – точно не помню. Не помню даже, какую книгу я там читал. Определенно взятую с полки наугад. Я так и не сориентировался в этой подборке книг. Там были хранимые двумя, а то и тремя поколениями старинные собрания сочинений в кожаных переплетах, а также альбомы по искусству, сборники поэзии, большое количество исторической литературы, кое-какие биографические произведения, романы, детективы. У нас, в родительском доме, книги, словно в доказательство того факта, что к ним относятся с уважением, были расставлены в строгом порядке: по тематике, по авторам, даже по размеру. А здесь царила иная система, точнее, насколько я мог судить, бессистемность. Геродот соседствовал с комическими стишками Салливана, трехтомная история Крестовых походов – с Джейн Остин, а Лоуренс Аравийский втиснулся между Хемингуэем и практическим пособием по бодибилдингу. Что это было – тонкая шутка? Богемная небрежность? Или особый род заявления: в доме главные – не книги, а мы сами.

Из этих размышлений меня вывел грохот: створка двери ударилась о

книжный шкаф с такой силой, что отскочила назад, и входящий пнул ее вновь. На пороге стоял Маклауд; помню, на нем был клетчатый домашний халат, подпоясанный длинным темно-бордовым витым шнуром. Из-под халата выглядывали слоновьи пижамные штаны и кожаные тапки.

– Ты что тут делаешь? – спросил он таким тоном, каким обычно посылают собеседника куда подальше.

У меня сама собой включилась защитная реакция – наглость.

– Читаю, – ответил я и помахал книгой.

Маклауд с топотом бросился ко мне, вырвал у меня книгу и запустил ее, как летающую тарелку, через всю комнату.

Я не сдержал ухмылку. Он-то думал, что расправился с книжонкой, которую я принес с собой, а это оказался том из его библиотеки. Умора!

И тут он меня ударил. Точнее, собрался нанести серию из трех (кажется, так) ударов, и в результате его запястье один раз скользнуло по моему виску. Два других удара пришлось в воздух.

Я вскочил и попытался дать ему сдачи. Если не ошибаюсь, мне удалось ткнуть его в плечо. Ни он, ни я особо не закрывались: оба показали себя никудышными бойцами. Если честно, я до той поры вообще никого не бил. Маклауд, как я понимаю, оказался опытнее, но ненамного. Пока он соображал, что еще сказать и куда ударить, я проскользнул мимо него, бросился к двери черного хода и смылся.

После чего с облегчением вернулся в тот дом, где на меня не поднимали руку более десяти лет – после того как раз-другой отшлепали (вне сомнения, заслуженно).

* * *

Нет, это не совсем так – что я никого не бил. В начальной школе учитель физкультуры загонял поголовно всех мальчишек на ежегодные соревнования по боксу; участников распределяли по весу и году рождения. У меня не было ни малейшего желания бить или получать по морде. Но, изучив списки, я заметил, что в моей весовой категории не оказалось ни одного участника, и решил записаться, надеясь на победу из-за неявки соперника.

На мою (и не только на мою) беду, хитрость не удалась: другой парнишка, Бейтс, задумал то же самое. И вот мы с ним сошлись на ринге: два перепуганных задохлика в майках и домашних трусах, на ногах кеды, на руках огромные, не по размеру перчатки. Пару минут каждый из нас

вполне сносно изображал атаку и поспешный отход, но физрук прервал бой, указав, что ни один из наших ударов не достиг цели.

Последовала команда «Бокс!», после чего я подскочил к утратившему бдительность противнику, чьи перчатки болтались где-то у коленок, и ударил его в нос. Бейтс пискнул, а потом увидел на своей белоснежной майке каплю крови – и разревелся.

А я стал чемпионом школы в возрастной категории до 12 лет и в весовой категории до тридцати восьми килограммов. Естественно, больше на такие подвиги меня не тянуло.

* * *

Когда я в следующий раз оказался у Маклаудов, муж Сьюзен держался исключительно по-дружески. Вроде бы именно тогда он и взялся учить меня решать кроссворды, изобразив это занятие как предназначенное для мужчин. Или, по крайней мере, как не предназначенное для Сьюзен. Так что его выходку в библиотеке я расценил как помутнение рассудка. Вообще говоря, нельзя исключать, что тот эксцесс был отчасти спровоцирован мною. Мне ведь ничего не стоило, например, расспросить его, по какой версии системы Дьюи организована его библиотека. Нет, теперь-то я понимаю, что и в этом можно было бы усмотреть провокацию.

Какой срок разделял тот эпизод и следующий? Ну, скажем, полгода. Опять же, время было позднее. В доме Маклаудов, в отличие от нашего, близ входной двери начиналась парадная лестница; была еще и черная лестница, поуже, которая начиналась от кухни; можно предположить, что первоначально по ней сновали служанки в чепцах, ныне вытесненные механизацией домашнего труда. Во время учебного года, приезжая в гости к Сьюзен, я, как правило, ночевал в комнатке наверху, куда можно было попасть по любой из лестниц. Мы со Сьюзен прослушали пластинку (в преддверии концерта), и у меня в ушах все еще звучала музыка, когда я поднимался к себе по черной лестнице. Вдруг раздался какой-то рев, сопровождаемый то ли пинком, то ли подножкой и толчком в плечо, – и я стал падать навзничь. Каким-то чудом я сумел ухватиться за перила, едва не вывихнув плечо, но все же удержался на ногах.

– Ублюдок, сука! – вырвалось у меня.

– Чтоский? – долетел ответ с верхней площадки. – Чтоский, пернатый мой дружок?

Из полутьмы на меня сверху вниз взирал этот квадратный хам. Я

решил, что Маклауд – полный, законченный псих. Несколько мгновений мы таращились друг на друга, а затем облаченная в халат фигура с топотом растворилась в потемках, и где-то на расстоянии хлопнула дверь.

Страшили меня не кулаки Маклауда – то есть в первую очередь не они. Страшила меня его злоба. У нас в семье никто не злобствовал. Мы могли позволить себе иронический комментарий, дерзкий ответ или язвительное уточнение; могли произнести недвусмысленные слова, налагающие запрет на какие-либо действия, и более жесткие фразы в осуждение уже совершенных действий. Но во всем, что выходило за эти рамки, мы поступали так, как от века повелось в приличных английских семьях. Мы загоняли внутрь и ярость, и злобу, и презрение. Если и облекали их в слова, то про себя. Кто вел дневник, тот мог записать эти слова черным по белому. Но при этом мы немного стыдились, полагая, что другие себе такого не позволяют, а потому с течением времени загоняли низменные чувства еще глубже.

В тот вечер, поднявшись к себе в каморку, я взял стул и заблокировал дверь, как показывают в кино. А потом, лежа в постели, думал: неужели это и есть взрослый мир? Под маской видимого? И глубоко ли он отстоит... будет отстоять... от поверхности?

Ответов так и не нашлось.

* * *

В разговорах со Сьюзен я не упоминал ни первого, ни второго происхождения. Загонял вглубь злобу и стыд... что ж, это было у меня в крови, разве нет?

Вы даже представить себе не можете долгие часы счастья, восторга, веселья. О них я уже рассказывал. Вот ведь какая штука – память: она... ну, скажем так. Вам доводилось видеть, как работает электрический древокол? Впечатляющее приспособление. Распиливаешь бревно на колоды нужной длины, помещаешь колоду в желоб, ногой жмешь на педаль, и колода уезжает под лезвие в форме топора. Дрова получаются аккуратные, расколотые вдоль древесных волокон. К чему я веду? Если жизнь – это поперечное сечение, то память – раскол вдоль волокна, сверху донизу.

Поэтому не продолжать не могу. Хотя вспомнить эту часть мне было труднее всего. Нет, не вспомнить – описать. То был миг частичной утраты моей невинности. Звучит вроде неплохо. Казалось бы, взросление – это необходимый процесс утраты невинности, так? Может, да, а может, и нет.

Но есть одна загвоздка: в реальной жизни мы редко предвидим такую утрату, верно? Да и ее последствия тоже.

Перед отъездом на отдых мои родители вызвали бабушку (по материнской линии), чтобы я не оставался без присмотра. А как иначе: мне было двадцать лет (всего двадцать) – не оставлять же меня в доме одного. Как знать, что могло взбрести мне в голову, что я мог учудить – например, устроить вакханалию с пожилыми женщинами, а что подумают соседи, которые впоследствии наверняка перестанут заходить к нам на бокал хереса? Бабушка, овдовевшая пятью годами ранее, не находила, очевидно, приложения своим силам. Я естественным – невинным – образом любил ее с раннего детства. Теперь, когда я повзрослел, она стала наводить на меня скуку. С такой утратой невинности еще можно совладать самостоятельно.

На каникулах я спал как сурок. Вероятно, это было вызвано простой ленью, или запоздалой реакцией на стресс последнего семестра, или каким-то инстинктивным протестом против возвращения в тот мирок, который я по привычке называл домом. Без малейших угрызений совести я драл часы до одиннадцати. Родители, к их чести, никогда не заходили ко мне в комнату, чтобы, присев на край кровати, талдычить, что я использую дом как ночлежку; а бабушка по моему хотенью безропотно кормила меня завтраком в обеденное время.

Так что я спустился из своей спальни ближе к одиннадцати, чем к десяти.

– Тебя домогается какая-то ужасная грубиянка, – сообщила бабушка. – Звонила уже три раза. Требовала тебя разбудить. В последний раз даже чертыхнулась. А я ей говорю: мальчик отдыхает, и тревожить его сон негоже.

– Молодец, бабуля. Спасибо.

Ужасная грубиянка. Среди моих знакомых девушек таких не было. Неужели это в теннисном клубе никак не могли успокоиться? Или банк беспокоился по поводу моего овердрафта? Или бабушка выжила из ума? Тут вновь зазвонил телефон.

– Это Джоан, – сказал очень грубый голос Джоан. – У Сьюзен проблемы. Дуй туда. Ей нужен ты, а не я. Ты, понятно? – И бросила трубку.

– А завтрак-то, завтрак? – встревожилась бабушка, но я уже выскочил за порог.

У Маклаудов парадная дверь стояла незапертой; я метался по дому, пока не обнаружил Сьюзен: полностью одетая, она сидела на диване в гостиной, держа рядом с собой сумочку. Когда я поздоровался, она даже не подняла головы. Мне было видно только ее макушку, точнее, складку

головного платка. Стоило мне присесть рядом, как она тут же отвернулась.

– Отвези меня в город.

– Конечно, любимая.

– Только ни о чем не спрашивай. И ни в коем случае на меня не смотри.

– Как скажешь. Но объясни хотя бы в общих чертах: куда ехать?

– В сторону универмага «Селфриджес».

– Это срочно? – Я все же позволил себе один вопрос.

– Просто езжай осторожно, Пол. Езжай осторожно.

Возле указанного ею ориентира она показала, как проехать на Уигмор-стрит и далее на ту улицу, где располагались частные врачебные кабинеты.

– Остановись здесь.

– Хочешь, я пойду с тобой?

– Не хочу. Сходи перекуси. Я тут задержусь. Тебе деньги нужны?

На самом деле я выскочил из дома без бумажника. Она дала мне десять шиллингов одной бумажкой.

Свернув на Уигмор-стрит, я увидел впереди магазин «Джон Белл энд Кройден», где Сьюзен купила маточный колпачок. Меня как ошпарило. Не иначе как во всем виноват я: она забеременела и теперь вынуждена расхлебывать последствия. Закон об абортах все еще находился на утверждении в парламенте, но все знали, что есть врачи, причем отнюдь не коновалы, готовые выполнить необходимую «манипуляцию» практически по первому требованию. Я представил себе разговор: Сьюзен объясняет, что забеременела от молодого любовника, что двадцать лет не подпускала к себе мужа и что ребенок разрушит ее брак и поставит под угрозу психику. Любой доктор счел бы такие аргументы достаточными, чтобы провести, как завуалированно указывалось в медицинских документах, ИПБ – «искусственное прерывание беременности». Выскабливание полости матки, которое позволит выскоблить эмбрион, прикрепившийся к ее стенке.

Заказав себе ланч в итальянском кафе, я придумывал, а точнее – продумывал ряд несовместимых возможностей. Перспектива уже в студенческие годы стать отцом вызывала у меня безумный страх. Но вместе с тем в ней виделось нечто героическое. Подрывающее все устои, но вместе с тем почетное; досадное и вместе с тем жизнеутверждающее; благородное. Отцовство вряд ли гарантировало мне место в Книге рекордов Гиннеса (наверняка в ней числились двенадцатилетние удалыцы, положившие глаз на бабушкиных подруг), но определенно выделяло меня из общего ряда. И произвело бы в Деревне эффект разорвавшейся бомбы.

Да только этому теперь не суждено было случиться. Потому что тут, за

углом, Сьюзен в этот самый миг избавлялась от ребенка. Меня вдруг охватила ярость. Право женщины выбирать – да, я разделял это убеждение как в теории, так и в действительности. Но вместе с тем считал, что у мужчины есть право требовать, чтобы с ним посоветовались.

Я вернулся в машину и приготовился ждать. Через час с небольшим Сьюзен показалась из-за угла и понуро направилась в мою сторону. Ее щеки закрывал платок. Садясь в машину, она отворачивалась.

– Ну вот, – сказала она. – Пока все.

У нее была какая-то странная дикция. После наркоза, предположил я, если, конечно, ей давали наркоз.

– К дому, Джеймс, и не щади лошадей. [\[11\]](#)

В других обстоятельствах меня бы подкупила эта фраза. Но не сейчас.

– Сперва расскажи, где ты была.

– У зубного.

У зубного? Мое воображение отключилось. Надо думать, я услышал очередной эвфемизм, бытовавший в среде женщин ее социального статуса.

– Когда смогу – расскажу, Кейси-Пол. Сейчас не до этого. Не спрашивай.

Конечно, конечно. С величайшими предосторожностями я отвез ее домой.

На протяжении нескольких дней Сьюзен каплю за каплей выжимала из себя рассказ о случившемся. В тот вечер она слушала музыку и долго не ложилась. Маклауд завалился спать час назад. А она раз за разом ставила медленную часть Третьего концерта Прокофьева, который мы слушали за несколько дней до этого в Фестивал-холле. Затем, убрав пластинку в конверт, Сьюзен пошла наверх. Но стоило ей потянуться к дверной ручке, как сзади муж схватил ее за волосы и со словами: «Просвещаешься, меломанка драная?» – впечатал лицом в дверь. После чего вернулся в постель.

Стоматолог установил следующее: два центральных резца сломаны и не подлежат восстановлению. Боковые резцы, скорее всего, тоже сохранить не удастся. В верхней челюсти имеется трещина, которая со временем должна зарости. Сейчас необходимо протезирование. Врач спросил, не хочет ли Сьюзен рассказать, как такое произошло, но, услышав отказ, более не настаивал.

На лице у нее стали проявляться синяки мерзких оттенков; Сьюзен по мере сил их запудривала. Пока я раз за разом возил ее на прием и не мог поцеловать или упросить повернуться ко мне лицом; пока примирялся с мыслью, что никогда больше не постучу ногтем по «кроличьим зубкам»,

давно выброшенным в мусор, и что теперь на меня ложится более тяжкая ответственность; пока я вынашивал отнюдь не праздный план убийства Гордона Маклауда и поневоле выслушивал сперва бабушкины, а потом и родительские осторожные, благоразумные, банальные сентенции о жизни; пока мужество Сьюзен и отсутствие у нее жалости к себе терзали мне сердце и я привыкал уходить от нее не позднее чем за час до возвращения Маклауда; пока, переполняемый гневом, жалостью и ужасом, заставлял себя верить ее (или его?) слову, что такое больше не повторится; пока прикидывал, как Сьюзен сможет уйти от этого негодяя со мной или без меня, но скорее со мной, и одновременно мучился от собственного бессилия, – в течение всего этого времени мне понемногу открывалось нечто новое о браке Маклаудов.

Конечно, тот синяк у нее на предплечье был не просто размером с отпечаток пальца – это был самый настоящий отпечаток большого пальца, оставленный Маклаудом, когда тот силой удерживал ее на стуле, осыпая руганью. Он вцеплялся в нее пятерней, отвешивал пощечины, не раз и не два наносил удары. Ставил перед ней стакан хереса и приказывал «составить ему компанию». Когда она отказывалась, он хватал ее за волосы, откидывал голову назад и подносил стакан ей к губам, чтобы она либо пила, либо терпела, когда спиртное польется по лицу, по шее, на платье. Насилие бывало словесным и физическим, но сексуальным – никогда; и хотя у всего могла быть сексуальная подоплека... ну, это выходит за пределы моей компетенции, а также интересов. Да, обычно насилие бывало сопряжено с его пьянством, но не каждый раз; да, ей бывало страшно, но в принципе она не боялась мужа. С годами научилась им манипулировать. Да, в каждом акте агрессии была, если верить его словам, исключительно ее вина: это же она, чертовка, досаждала ему своей иезуитской дерзостью (его фраза). А также безответственностью, а также тупостью. В какой-то момент, уже после того, как муж разбил ей лицо о дверь, он спустился в гостиную и согнул, а затем и сломал пополам пластинку с записью Третьего концерта Прокофьева.

* * *

Наверное, только моя ограниченность, смешанная со снобизмом, до той поры заставляла меня считать, будто домашнее насилие – удел низших классов, в чьей среде приняты иные нормы: к примеру, как я заключил из книг, а не из соприкосновения с жизнью низов, женщины предпочитают

побои мужниным изменам. Бьет – значит любит, и прочий бред. У меня не укладывалось в голове, что выпускник Кембриджа может опуститься до насилия. Раньше я об этом особо не задумывался. А взял бы себе труд задуматься, так решил бы, наверное, что насилие в среде социальных низов связано с косноязычием: кулаки идут в ход там, где не хватает слов. Оба эти мифа мне удалось развеять лишь через несколько лет, несмотря на нынешние свидетельства.

Зубной протез доставлял Сьюзен массу неприятностей; для его подгонки требовалось без конца ездить в город. Стоматолог спрямил искусственные зубы и на пару миллиметров укоротил два центральных резца. Перемены небольшие, но для меня – разительные. Те зубки, по которым я любовно постукивал ногтем, исчезли навсегда, и прикасаться к суррогатам меня не тянуло.

От одного убеждения я не отступался никогда: поведение Гордона Маклауда было наказуемо, как любое преступление. И ответственность целиком лежала на нем. Мужчина бьет женщину, муж бьет жену, пьяница бьет непьющую. Оправдания нет и быть не может, как нет и смягчающих обстоятельств. Тот факт, что дело никогда не дойдет до суда, что в буржуазной Англии есть тысяча способов сокрытия истины, что респектабельность, как одежда, никогда не сбрасывается на людях, что Сьюзен ни под каким видом не донесет на мужа никакому официальному лицу, вплоть до зубного врача, – все это в моем понимании было несущественно, кроме как в социологическом плане. Этот негодяй был кругом виноват, и моей ненависти к нему могло хватить на целую жизнь. Хотя бы это я знал наверняка.

Примерно через год я поехал навестить Джоан и объявил ей о нашем решении перебраться в Лондон.

* * *

Если ты безоговорочно приемлешь любовь, то, значит, и безоговорочно не приемлешь брак. По зрелом размышлении тебе приходят на ум разные цветистые сравнения. Брак – это собачья конура, где живет благодушие, не посаженное на цепь. Брак – это ларец с драгоценностями, где властвует таинственная «алхимия наоборот», превращая золото, серебро и бриллианты в черные металлы, стразы и кварц. Брак – это заброшенный лодочный сарай, где хранится никчемный двухместный челнок с пробойнами в днище и одним уцелевшим веслом. Брак – это... ну

хватит, такие сравнения можно штамповать десятками.

Мы вспоминаем своих родителей и родительских знакомых. Все они в общем и целом, даже по скромным оценкам, приличные люди: честные, трудолюбивые, вежливые друг с другом, не какие-нибудь тираны по отношению к детям. В семейной жизни видят примерно такой же смысл, как и предыдущее поколение, но вместе с тем пользуются определенной степенью свободы, позволяющей им воображать себя первопроходцами. Но где же здесь любовь, удивляемся мы. Причем даже не имея в виду секс – о нем мы предпочитаем не думать.

Итак, приходя в дом Маклаудов и наблюдая там совершенно другой стиль жизни, ты сразу делаешь вывод об ограниченности собственного домашнего уклада, которому не доставало живости и эмоций. Затем до тебя мало-помалу доходило, что брак Гордона и Сьюзен Маклауд на поверку гораздо хуже брака любой пары из окружения твоих родителей, и ты еще более укреплялся в своей категоричности. То, что Сьюзен должна жить с тобой в атмосфере любви, не подлежало сомнению, равно как и то, что она должна уйти от Маклауда, развестись – особенно в свете последних событий, и эти требования казались не просто констатацией истины, но необходимым первым шагом к повторному становлению ее как полноценной личности. Нет, не «повторному», а «первоначальному». Разве не увлекателен для нее был бы такой опыт?

Убеждаешь ее проконсультироваться с адвокатом. Нет, она не хочет, чтобы ты ее сопровождал. Та часть твоего сознания, которая рисует свободную – и в самом ближайшем будущем самостоятельную – Сьюзен, только одобряет.

– Ну, как прошло?

– Он сказал, что я слегка запуталась.

– Прямо так и сказал?

– Нет. Не прямо так. Но я ему кое-что объяснила. Почти все. Нет, о тебе, естественно, умолчала. Ну... понимаешь, он решил, будто я только что сбежала. Дала деру. Вероятно, подумал, что у меня просто климакс.

– Но... разве ты не объяснила, что произошло... что он с тобой сделал?

– Я не вдавалась в подробности. Так, описала в общем виде.

– Но «в общем виде» не считается основанием для развода. Для развода требуется конкретика.

– Не придирайся, Пол. Делаю, что могу.

– Да, но...

– Он посоветовал мне для начала пойти домой и все подробно изложить в письменном виде. Поскольку от него не укрылось, что мне

тяжело говорить напрямую.

– Вполне резонно. – Ты вдруг меняешь гнев на милость в отношении этого адвоката.

– Постараюсь так и сделать.

Через пару недель ты интересуешься, дан ли ход ее заявлению; она молча качает головой.

– Но это необходимо сделать, – настаиваешь ты.

– Ты не представляешь, насколько мне тяжело.

– Помочь тебе?

– Нет, я должна сама.

Ты одобряешь. Это будет началом, становлением новой Сьюзен. Пытаешься дать ненавязчивый совет.

– Думаю, адвокатам потребуются специфические детали. – Ты-то сам уже слегка поднаторел в бракоразводном праве. – Что именно произошло и хотя бы приблизительно в котором часу.

Проходит еще две недели; ты спрашиваешь, как успехи.

– Не ставь на мне крест, Кейси-Пол, – отвечает она.

От этих слов (произнесенных без задней мысли – Сьюзен вообще чужда расчетливости) у тебя каждый раз сжимается сердце. Конечно, ты не поставишь на ней крест.

И вот, еще пару недель спустя, она протягивает тебе несколько листов бумаги:

– Только при мне не читай.

Забираешь их с собой, и от первой же фразы твой оптимизм идет на убыль. Из своей жизни – и своего брака – она сделала юмористический сюжет в духе Джеймса Тербера. Вероятно, у него же и позаимствованный. Про человека по имени мистер Слоновьи Брюки, который носит костюм-тройку и каждый вечер навещается либо в паб, либо в привокзальный бар, а домой приходит в таком состоянии, что нагоняет страху на жену и детей. Он сбивает шляпную стойку, пинает цветочные горшки, орет на собаку, распространяя вокруг себя Большую Тревогу и Угнетенность, и бузит до тех пор, пока не засыпает на диване, а храпит так, что с крыши сыплется черепица.

У тебя нет слов. Ты молчишь. Делаешь вид, что все еще изучаешь сей документ. Понятно, что нужно проявить мягкость и терпение. Снова объясняешь: адвокатам требуется конкретика – где, когда и, самое главное, что. Глядя на тебя, она кивает.

Постепенно, в течение следующих недель и месяцев, до тебя доходит, что письменный документ не появится никогда. У нее достанет сил тебя

любить, достанет сил с тобой сбежать, но не достанет сил войти в зал суда и дать показания против мужа, который десятилетиями изводит ее бесполой тиранией, алкоголизмом и побоями. Она не сумеет, даже через адвоката, запросить у стоматолога справку о своих телесных повреждениях. У нее не получится прилюдно выложить то, чем она делится с тобой наедине.

Ты начинаешь понимать, что она, возможно, и свободная душа, какой ты ее воображал, но при этом – изломанная свободная душа. Ты начинаешь понимать, что в основе ее упрямства лежит стыд. Стыд перед людьми, стыд перед обществом. Она переживает изгнание из теннисного клуба за распутство, но ни за что не признает истинный характер своего брака. Тебе на ум приходят старые судебные прецеденты, когда преступники, в том числе и убийцы, женились на своих сообщницах, потому что жена имеет право не свидетельствовать против мужа. Но нынче, вдали от преступного мира, в респектабельной Деревне и множестве подобных ей тихих предместий по всей стране, находятся жены, которые, подчиняясь общественным и брачным условностям, отказываются давать показания против своих мужей.

А ведь есть и еще один фактор, о котором, как ни странно, ты не подумал. Как-то спокойным вечером – спокойным потому, что ты, официально заявив об отказе от этого проекта, избавился от всех ложных надежд и раздражения, – она негромко говорит:

– И вообще, если бы я на это пошла, он бы тут же приплел тебя.

Ты поражен. У тебя сложилось такое чувство, что распад брака Маклаудов не имел к тебе никакого отношения: ты ведь посторонний человек, который всего лишь указал на то, что по идее должно быть ясно как день. Да, ты в нее влюбился; да, ты с ней сбежал; но это не причины, а следствия.

Но тебе все равно повезло, что в своде законов больше нет статьи о прельщении. Нетрудно представить, как тебя вызывают в качестве свидетеля и дают слово. Отчасти тебе кажется, что это прекрасно, по-геройски. Ты репетируешь в голове характерные обмены репликами судебного заседания и проявляешь себя блестяще. Вплоть до последнего вопроса: «Да, между прочим, юный оболститель, юный соблазнитель, позвольте спросить: чем вы зарабатываете на жизнь?» Ты, естественно, отвечаешь: «Я учусь на юридическом факультете». И понимаешь, что тебе, по всей вероятности, придется сменить профессию.

Насколько тебе известно, проверив дом, половина которого принадлежит ей, она отправляется в гости к Джоан. Это само по себе неплохо, если не считать, что по возвращении от нее несет табаком. А однажды ты уловил и запах спиртного.

– Ты выпивала с Джоан?

– Выпивала? Дай подумать... Вполне возможно.

– Больше так не делай. Не садись за руль в нетрезвом виде. Это безумие.

– Есть, сэр, – паясничает она.

После следующей поездки ее волосы пропитаны табачным дымом, а изо рта пахнет мятными пастилками «Поло». Что за глупость? – думаешь ты.

– Послушай, если соберешься выпивать с Джоан, не пытайся меня обмануть.

– Дело в том, Пол, что некоторые участки дороги мне жутко не нравятся. У меня начинается мандраж. От слепых поворотов. А глоточек хереса, выпитого у Джоан, успокаивает нервы. Кстати, мятные колечки «Поло» я сосу не ради тебя, мой дорогой, а на тот случай, если меня тормознет полиция.

– Я уверен, что запах мятных пастилок вызывает у полицейских точно такие же подозрения, как запах алкоголя.

– Вот только не надо строить из себя полицейского, Пол. Или законника, хотя это твоя будущая специальность. Я справляюсь как могу. На большее я не способна.

– Это понятно.

Целуешь ее. Ссориться неохота ни тебе, ни ей. Конечно, ты в нее веришь, конечно, ты ее любишь, конечно, для юриста или законника ты еще зелен. И вы, смеясь, проживаете несколько ничем не омраченных месяцев.

Но как-то февральским днем она запаздывает, возвращаясь из Деревни. Тебе известно, что ездить в темноте она не любит. Ты уже воображаешь, как машина летит в кювет, как на приборную доску безвольно склоняется окровавленная голова, а из сумочки высыпаются мятные колечки «Поло».

Набираешь номер Джоан.

– Я немного беспокоюсь насчет Сьюзен.

– С какой стати?

– В котором часу она от вас выехала?

– Когда?

– Сегодня.

– Сегодня мы с ней не виделись, – твердо говорит Джоан. – И даже не договаривались встретиться.

– Черт! – вырывается у тебя.

– Дай мне знать, когда она вернется, целая и невредимая.

– Конечно, – отвечаешь ты, но твои мысли уже далеко.

– Слышишь меня, Пол?

– Да?

– Целая и невредимая, это самое главное.

– Да.

Это самое главное. И она действительно возвращается – целая и невредимая. Волосы чистые, изо рта ничем не пахнет.

– Прости, любимый, я припозднилась, – говорит она и опускает сумочку.

– Я места себе не находил.

– Не стоит так волноваться.

– А я почему-то волнуюсь.

На этом разговор заканчивается. После ужина ты убираешь со стола и, стараясь не поворачиваться к ней лицом, спрашиваешь:

– Как там старушка Джоан?

– Джоан? Как всегда. Джоан не меняется. И это прекрасно.

Ты ополаскиваешь посуду и больше вопросов не задаешь. Напоминаешь себе, что ты любовник, а не законник. Правда, в скором времени собираешься стать законником, поскольку хочешь быть солидным и надежным, чтобы получше о ней заботиться.

* * *

Бортовой журнал памяти разламывается по корешку. Тебе уже не вспомнить спокойные времена, совместные вылазки, веселье, нескончаемые шутки, даже занятия юриспруденцией, которые заполняют промежуток между последним разговором и тем днем, когда, встревоженный чередой ее поздних возвращений из Деревни, ты негромко, без надрыва говоришь:

– Я знаю, ты не всегда бываешь у Джоан, когда говоришь, что ездила к ней в гости.

Она отводит глаза.

– Ты меня проверяешь, Кейси-Пол? Такие проверки – жуткое, унижительное занятие.

– Допустим; только меня не оставляет тревога... невыносимо думать, что ты находишься в доме наедине с... этим...

– Никакой опасности нет, – говорит она.

Молчание затягивается.

– Слушай, Пол, я не все тебе рассказываю, поскольку не хочу, чтобы эти две части моей жизни пересекались. Поставить бы вокруг нас с тобой высокую стену...

– Но?..

– Но мне приходится обсуждать с ним насущные дела.

– Такие, как развод?

Сказал – и тут же устыдился своего сарказма.

– Не надо меня жучить, мистер Жук. Мне приходится решать вопросы по мере их поступления. Все гораздо сложнее, чем ты думаешь.

– Допустим.

– Не забывай: у нас – у него и у меня – двое детей.

– Я не забываю. – Хотя, конечно, забываешь. И нередко.

– Нас связывают финансовые отношения. Машина. Дом. Я считаю, за лето его нужно покрасить.

– Вы обсуждаете малярные работы?

– Достаточно, мистер Жук.

– Хорошо. Но ты любишь меня и не любишь его.

– И ты это знаешь, Кейси-Пол. В противном случае меня бы тут не было.

– Подозреваю, он рассчитывает тебя вернуть.

– Самое ненавистное, – говорит она, – когда он опускается на колени.

– А он опускается на колени? – Надо думать, в своих слоновьих штанах.

– Да, и это просто кошмар, так постыдно, так недостойно.

– И что: умоляет тебя остаться с ним?

– Да. Теперь тебе ясно, почему я об этом не откровенничаю?

* * *

На Генри-роуд нередко бывали «сладкие мальчики»: они спали прямо на полу, на горках подушек, как щенята. Чем больше собиралась компания, тем свободнее чувствовала себя Сьюзен, хлопотавшая по хозяйству. Иногда парни приводили с собой подруг, и меня интриговали их впечатления от Генри-роуд. Я научился безошибочно распознавать скрытое неодобрение.

Мне хотелось просто наблюдать, без истерик и паранойи. Помимо всего прочего, меня сместила косность их воззрений на интимные отношения. Нетрудно ведь предположить – я не ошибаюсь? – что девушку или молодую женщину лет двадцати с небольшим должна согреть мысль о тех волнующих событиях, которые могут произойти с ней через три десятка лет, о том, что душа и тело не обязаны в таком возрасте утратить трепетность, а будущее – свестись к росту респектабельности вкупе с угасанием эмоций. Меня удивило, что многие из них не приветствовали наши со Сьюзен отношения. Наоборот, реагировали так, как было бы в пору их родителям: тревожились, пугались, увещевали. Вероятно, они, заглядывая в свое грядущее материнство, предвидели, что их драгоценных сыночков могут окрутить в нежном возрасте. Сама собой напрашивалась мысль, что Сьюзен – это околдовавшая меня ведьма, которой прямая дорога на позорный стул. Что ж, она и вправду меня околдовала. И при виде недовольства ровесниц я только радовался самобытности наших со Сьюзен отношений, укрепляясь в своих планах и впредь шокировать чопорных, лишенных воображения мещанок. В конце-то концов, должна же у нас в жизни быть хоть какая-то цель, правда? Как у молодого человека должна быть хоть какая-то репутация.

Примерно в это же время один из жильцов выехал, и освободившуюся комнату на верхнем этаже занял Эрик, который порвал со своей (морализирующей, требующей оформления брака) подругой. Дом будто зарядился новой энергией – судя по всему, позитивной. Эрик был как раз из тех, кто безоговорочно принимал нашу связь и мог присматривать за Сьюзен в мое отсутствие. С него взималась арендная плата, отчего мне стало казаться совсем уж нелогичным, что я от нее освобожден. Но я догадывался, как отреагирует Сьюзен, если я надумаю возобновить свое предложение.

Прошло несколько месяцев. Как-то вечером, когда Сьюзен уже легла спать, Эрик заговорил:

– Не хотелось бы нагнетать...

– Что такое?

Он смутился, что было ему несвойственно.

– ...но дело в том, что Сьюзен прикладывает к моему виски.

– К твоему виски? Да она виски вообще не пьет.

– А кто еще? Либо она, либо ты, либо полтергейст.

– Ты не ошибаешься?

– Я поставил метку на бутылке.

– И давно это началось?

– Порядочно. Думаю, пару месяцев назад.
– *Месяцев?* Почему же ты молчал?
– Хотел удостовериться. Но она сменила тактику.
– То есть?
– Понимаешь, в какой-то момент она, вероятно, увидела метку. Хлебнула, или отлила себе, или еще что, а потом разбавила водой – как раз до метки.

– Умно.
– Да нет, стандартно. Даже банально. Так поступал мой папаша, чтобы мать не поймала его за руку.

– Вот, значит, как...
Я огорчился. Мне всегда хотелось, чтобы Сьюзен была оригинальна во всем, как, собственно, и виделось мне до той поры.

– Поэтому я принял логичное решение: перестал пить из той бутылки. Сьюзен забиралась ко мне, делала изрядный глоток – и доливала водой до карандашной отметки. Я выжидал и наконец заметил, что у виски поменялся цвет. Чтобы убедиться, я налил себе стакан. И сделал такой вывод: примерно одна часть виски на пятнадцать частей воды.

– Блин...
– Вот именно, блин.
– Сегодня ее пропесочу, – пообещал я.
Но этого не сделал. То ли смалодушничал, то ли понадеялся, что найдется другое объяснение, то ли был настолько измотан, что не захотел подтверждать собственные подозрения.

– А я от греха подальше переставлю бухло на шкаф.
– Хороший план.
План действительно был неплох, но в один из дней Эрик негромко сказал:

– Она теперь залезает на шкаф.
Можно было подумать, это не простое действие, выполняемое при помощи стула, а какой-то обезьяний трюк. В моих глазах так это и выглядело.

* * *

Начинаешь замечать, что временами она не то чтобы под мухой, но как-то расфокусирована. Не лицом, а рассудком. А поутру случайно видишь, как она глотает таблетку.

– Голова болит?

– Нет, – отвечает она.

У нее бывает такое настроение: прозрачное, без тени жалости к себе, но какое-то подавленное – у тебя от этого рвется сердце. Она подходит, садится на краешек кровати.

– Я сходила к врачу. Объяснила ситуацию. Сказала, что у меня депрессия. И он прописал мне таблетки для поднятия тонуса.

– Жаль, что они тебе понадобились. Наверное, я не оправдываю твоих ожиданий.

– Ты здесь ни при чем, Пол. Не наговаривай на себя. Думаю, мое состояние можно... отрегулировать, и все наладится.

– А ты рассказала врачу, что в последнее время много пьешь?

– Он не спрашивал.

– Это не значит, что надо умалчивать.

– Мы ведь не будем из-за этого ссориться, правда?

– Нет. Ссориться мы не будем. Никогда.

– Значит, все наладится. Вот увидишь.

Потом, когда вспоминаешь этот разговор, до тебя доходит (кстати, впервые): Сьюзен есть что терять – и поболее, чем тебе. Намного более. Ты оставляешь за плечами прошлое – и в основном без сожаления. Ты верил, и сейчас твердо веришь, что любовь превыше всего, что она перевешивает все остальное, что все встанет на свои места – нужно только разобраться с нынешними неурядицами. Но до тебя доходит, что у нее за плечами остается кое-что очень непростое – взять хотя бы ее отношения с Гордоном Маклаудом. Раньше ты думал, что от жизни можно аккуратно отсечь какие-то куски – без боли, без осложнений. До тебя доходит, что в Деревне она и раньше существовала в изоляции, а ваш побег и вовсе оставил ее в полном одиночестве.

А значит, ты должен окружить ее удвоенной заботой. Нужно миновать опасный участок дороги – и обзор станет четче, лучше. Она в это верит – поверь и ты.

* * *

При подъезде к Деревне выбираешь круглой путь, чтобы не проезжать мимо родительского дома.

– А Сьюзен где? – спрашивает Джоан, отворяя дверь.

– Я приехал один.

– Она в курсе?

Приятно, что Джоан всегда зрит в корень. Тебе не вредно получить в физиономию ведро холодной воды, прежде чем устроиться перед запотевшим графином джина комнатной температуры.

– Нет.

– Стало быть, дело серьезное. Минутку, пустолаек моих запрю.

Опускаешься в пропахшее псиной кресло, а тебе уже налито. Пока ты собираешься с мыслями, Джоан начинает:

– Пункт первый. Посредничать между вами я не буду. Все сказанное тобой останется в этих стенах – утечки не будет. Пункт второй. Я вам не мозгоправ и не советчица. Сдается мне, человек должен сам решать такие проблемы: прекратил ныть, засучил рукава – и вперед, а я чужие сетования выслушивать не люблю. Пункт третий. Я – старая швабра, живу одна со своими пустолайками. Ни в одной области я не авторитет. Даже в области кроссвордов, как ты сам заметил.

– Но вы же любите Сьюзен?

– Еще бы. Как там наша дорогая девочка?

– Она слишком много пьет.

– Слишком много – это сколько?

– В ее случае – сколько бы ни было.

– Может, ты и прав.

– И подсела на антидепрессанты.

– Ну, через это мы все прошли, – говорит Джоан. – Эскулапы прописывают их, словно карамельки. Особенно дамочкам бальзаковского возраста. И что, помогает ей?

– Не могу сказать. Она ходит словно одурманенная. Но не так, как от спиртного.

– Как же, как же, помню.

– Ну?

– Что «ну»?

– Как мне быть?

– Пол, голубчик, тебе же сказано: я вам не советчица. Всю жизнь прислушивалась к своим советам – и вот результат. С меня довольно.

Ты киваешь. И ничуть не удивляешься.

– Один совет все же могу дать...

– Какой?

– Выпей то, что тебе налито.

Ты подчиняешься.

– Ладно, – говоришь ей. – Советов не жду. Но... может, я чего-то не

знаю? Может, вы расскажете мне что-нибудь о Сьюзен или о нас со Сьюзен, чтобы открыть мне глаза?

– Я тебе так скажу: если все пойдет наперекосяк, ты, скорее всего, выкарабкаешься, а она, скорее всего, нет.

Ты потрясен.

– Это как-то не по-доброму.

– Доброта – не по моей части. Правда доброй не бывает, Пол. Жизнь тебе это докажет.

– Уже доказала, и не слабо.

– Может, оно и к лучшему. – Тебе словно влепили пощечину. – Заканчивай, Пол. Ты же не для того сюда заявился, чтобы припасть к моей груди и послушать сказочку про фею в саду.

– Верно. Просто поделитесь своими соображениями. Сьюзен постоянно мотается к Маклауду. Видимо, чаще, чем мне известно.

– Тебя это волнует?

– Только в том смысле, что я его убью, если он ее снова хоть пальцем тронет.

Джоан смеется.

– Как жаль, что для меня мелодрамы юности остались далеко в прошлом.

– Не надо пафоса, Джоан.

– Я без пафоса. Разумеется, Пол, никого ты не убьешь. Но приятно, что тебя посещают такие мысли.

Ты думаешь: ерничит. Но сатира – это не по части Джоан.

– Почему же не убью?

– Да потому, что последнее убийство в наших краях совершили люди, еще ходившие в боевой раскраске.

С усмешкой отпиваешь еще немного джина.

– Мне тревожно, – говоришь ты. – Тревожно оттого, что я не смогу ее спасти.

Ответа нет, и это действует тебе на нервы.

– Итак, каковы ваши соображения? – не отступаешь ты.

– Мать-перемать, кому сказано: я не оракул. Иди почитай гороскоп в «Эдвертайзер энд газетт». Когда вы сбежали, я сказала: смелые ребята. На вашей стороне смелость, на вашей стороне любовь. Если жизнь сочтет, что вы в чем-то не дотягиваете, значит жизнь не дотягивает до вас.

– Теперь вы заговорили именно как оракул.

– Тогда мне впору прополоснуть рот с мылом.

Однажды по возвращении домой ты видишь лицо Сьюзен – все в ссадинах и кровоподтеках; руки предостерегающе выставлены вперед.

– Я споткнулась об эту ступеньку в саду и упала, – говорит она так, словно этого следовало ожидать. – Брожу как в тумане, прямо страшно.

А ведь она и в самом деле бродит как в тумане. С тех пор ты на прогулках машинально придерживаешь ее под руку и следишь за любыми неровностями тротуара. Но ее выдает предательский румянец. Звонишь врачу – но не частнопрактикующему, прописавшему ей таблетки для поднятия тонуса.

Пожилой доктор Кенни суетлив и любопытен, но как участковый врач нареканий не вызывает: он из тех медиков, которые считают, что вызовы на дом позволяют собрать необходимые данные для постановки диагноза. Ведешь его наверх, в спальню Сьюзен; синяки у нее на лице пестрят всеми цветами.

Спустившись в гостиную, он просит уделить ему пару минут.

– Конечно.

– Случай неочевидный, – начинает он. – Пациентка еще не в том возрасте, чтобы падать на улице.

– В последнее время она бродит как в тумане.

– Да, она и мне так сказала, слово в слово. Могу я спросить: вы ей приходитеесь...

– Я ее квартирант... нет, скорее, наверно... крестник.

– Хм. И кроме вас двоих, в доме ни души?

– В мансарде снимают комнаты еще двое жильцов. – Ты не решаешься возводить Эрика в ранг второго крестника.

– А родные у нее есть?

– Есть, но в данный момент она от них... так сказать... отстранилась.

– И никто не оказывает ей поддержку? Кроме вас, разумеется?

– Думаю, никто.

– Случай, повторюсь, неочевидный. Как вы думаете: она, часом, не прикладывается к бутылке?

– Нет, что вы, – следует твой поспешный ответ. – Она вообще не пьет. Терпеть не может спиртное. В частности, по этой причине она ушла от мужа. Он алкоголик. Пьет баллонами и галлонами, – зачем-то добавляешь ты, не успев придержать язык.

Для себя ты отмечаешь два факта. Во-первых, ты лжешь на автомате,

чтобы выгородить Сьюзен, хотя, возможно, правда была бы к ее пользе. Во-вторых, ты начинаешь понимать, как ваш роман – точнее, ваше сожителство – выглядит со стороны.

– А позвольте спросить, чем она занимается в течение дня?

– Э-э... волонтерской деятельностью... в благотворительной организации.

Еще одна ложь. Сьюзен упоминала такую возможность, но ты воспротивился. Счел, что она сама нуждается в помощи – где уж тут помогать другим.

– Но не с утра до ночи, правда же?

– Ну, наверно, еще... ведет домашнее хозяйство.

Он оглядывается. Дом крайне запущен. Понятно, что твои ответы не удовлетворяют доктора. Что ж, ничего странного.

– Если случится рецидив, – говорит доктор, – нас обяжут провести расследование.

Подхватив свой чемоданчик, он уходит.

Расследование? – звучит у тебя в ушах. Расследование? Он почуял вранье. Но что тут расследовать? Наверное, он догадался, что ты ее любовник, и заподозрил, что женщину здесь избивают. Опомнись, говоришь ты себе: стремясь сделать так, чтобы она не прослыла алкоголичкой, ты подставляешь себя под обвинения в рукоприкладстве. Как видно, доктор вынес тебе последнее предупреждение.

Еще не факт, что полиция заинтересуется этим делом. Можно припомнить случай двухлетней давности. Вы со Сьюзен садитесь в машину, проезжаете с четверть мили и замечаете на тротуаре повздорившую парочку. Мужчина угрожающе надвигается на женщину – и у тебя в голове возникает сцена в доме Маклаудов. Уличный хулиган пока не ударил свою спутницу, но уже замахнулся. Вполне возможно, что оба пьяны – сразу не определишь. Ты опускаешь стекло, и женщина вопит: «Звони в полицию!» Теперь этот сграбастал ее в охапку. «Звони в полицию!» Примчавшись домой, набираешь 999, и за вами тут же приезжает патрульная машина, чтобы, согласно поступившему сигналу, вы указали место вероятного преступления. Скандалистов там уже нет, но через две улицы вы их настигаете. Они стоят метрах в трех друг от друга, во все горло обзываясь последними словами.

– А, этих мы знаем, – говорит молодой констебль. – Вечно у них семейные разборки.

– Вы не собираетесь его задерживать?

С этим констеблем вы почти ровесники, но он много чего повидал и не

в пример лучше знает жизнь.

– Видите ли, сэр, мы не вмешиваемся в домашние конфликты. Разве что в самых крайних случаях. А тут – ну, поскандалили малость. Вечер пятницы, святое дело.

И отвозит вас домой.

Сейчас до тебя доходит, что ты требуешь официального вмешательства в чужую жизнь, никого не впуская в свою. Осознаешь, между прочим, и то, что твоя правдивость сделалась опасно гибкой. И задаешься вопросом: не следовало ли тебе тогда выскочить из машины и оттащить того бузотера?

* * *

Одна из твоих проблем заключается в следующем: долгое время ты попросту не веришь, что она пьет. Как такое возможно, тем более что у нее муж – алкоголик и спиртное внушает ей отвращение? Она даже запаха не переносит, равно как и дутых эмоций, которые провоцирует алкоголь. Маклауд от выпитого становится еще более грубым, злым и слезливо-сентиментальным; когда он, схватив ее за волосы, поднес ей к губам стакан, она предпочла, чтобы херес лился на платье, но не в горло. К слову: за всю свою жизнь она ни от кого не видела примеров противоположного свойства: чтобы алкоголь придавал шик, помогал, если нужно, расслабиться, повышал настроение, диктовал меру и время.

Ты ей веришь. Никогда не ловишь на нестыковках, которых становится все больше, не упрекаешь за поздние возвращения. Встречая ее мутный взгляд и пустое выражение лица, убеждаешь себя, что она приняла две таблетки антидепрессанта вместо одной – изредка такое бывает. У тебя зреет убеждение, что депрессанты понадобились ей, в частности, оттого, что ты не способен сделать ее счастливой, что ты перед ней виноват, и угрызения совести не позволяют тебе приставать к ней с расспросами. А потому, когда она взирает на тебя мутным взглядом, похлопывая рядом с собой по дивану, и вопрошает: «Где тебя носило всю мою жизнь?», у тебя внутри все переворачивается и рвется, и больше всего на свете хочется сделать так, чтобы ей стало хорошо, причем на ее условиях, а не на твоих. Ты присаживаешься рядом с ней и сжимаешь ей запястья.

Как твоя любовь видится тебе уникальной, так и твои (ее) проблемы видятся совершенно особенными. В силу свой молодости ты не понимаешь, что все человеческое поведение укладывается в определенные схемы и категории и что ее (твой) случай далеко не единичен. Тебе хочется

верить, что она – не правило, а исключение. Надумай кто-нибудь в ту пору произнести в твоём присутствии слово «созависимость» (впрочем, термин этот возник позже), ты бы со смехом отмахнулся, сочтя его американским жаргоном. Зато на тебя, возможно, произвели бы впечатление статистические данные, вскрывающие неведомую тебе зависимость: супруги алкоголиков, отнюдь не проникнувшись отвращением (точнее, невзирая на свое отвращение) к пагубному пристрастию, часто сами оказываются его жертвами.

Но на следующем этапе ты признаешь наглядное процентное соотношение. Понятно, что в определенных, весьма немногочисленных случаях ей требуется немного взбодриться за счет, как она сама подчас допускает, небольшого глоточка. Понятно, что, бывая в Деревне и заезжая проводить Джоан, она должна составить той компанию; понятно, что ее иногда пугают плотные транспортные потоки на дорогах, извилистые подъемы в гору – и здесь тоже помогает капелька спиртного; понятно, что она страдает от одиночества, когда ты целыми днями пропадаешь в колледже. Случается у нее, по ее же словам, и «плохое время», обычно между пятью и шестью часами пополудни; но по мере того как дни становятся короче, «плохое время» обычно наступает раньше, а заканчивается, естественно, как всегда.

Ты веришь каждому ее слову. Веришь, что бутылка, задвинутая под раковину и загороженная отбеливателем, жидким мылом и средством для чистки изделий из серебра, – единственная, к которой она прикладывается.

Когда она предлагает тебе сделать карандашную метку, чтобы вы с ней вместе контролировали количество выпитого, ты смягчаешься и говоришь себе, что эти карандашные метки не имеют ничего общего с теми, которые ставил Эрик на бутылке виски. Тебе даже в голову не приходит, что в других местах можно спрятать другие бутылки. Когда друзья пытаются заострить твоё внимание на очевидном («Меня немного тревожит, что Сьюзен выпивает», – говорит один; «Ого, аж из телефонной трубки бухлом несет», – вторит другой), ты реагируешь по-разному. То выгораживаешь ее, все отрицая; то допускаешь, что да, бывает изредка такой грех; заверяешь, что у вас уже состоялась серьезная беседа и Сьюзен пообещала «обратиться к специалистам». Бывает, что в одном и том же разговоре ты приводишь до трех различных версий. Но участие друзей и предложение помощи тебя обижает. Потому что помощь вам не требуется: вы же любите друг друга, а потому, спасибо большое, вдвоем сумеете все преодолеть. И это слегка отчуждает твоих друзей и в то же время отталкивает их от нее. Ты все чаще повторяешь: «У нее просто был плохой день» – и уже

начинаешь сам этому верить.

Потому что у вас все еще бывают счастливые дни и часы, когда в доме царят трезвость и радость, когда глаза ее и улыбка напоминают тебе о вашем первом знакомстве, и вы придумываете себе простые развлечения: едете на прогулку в лес, сидите в кино, держась за руки, и от внезапного прилива чувств все становится простым и понятным, а потом оба подтверждаете свою любовь – и ты, и она. В такие дни тебе хочется предъявить ее друзьям: смотрите, она та же, что и прежде, не только «внутренне», но и прямо перед вами, на поверхности. Ты даже не подозреваешь, что твои друзья вечно видят ее подшофе по той, в частности, причине, что она убедила себя в результате каких-то мучительных дебатов, что для встреч с ними ей требуется храбрость во хмелю.

Каждый этап плавно перетекает в следующий. И наступает такая парадоксальная ситуация, с которой ты поначалу пытаешься бороться. Если ты ее любишь, в чем нет ни малейшего сомнения, и если любить – значит понимать, то понять ее – значит понять, среди прочего, и причины ее алкоголизма. Ты анализируешь ее предысторию, недавнее прошлое, нынешнее положение дел и вероятное будущее. И, придя к пониманию всех этих ступеней, ты делаешь какой-то резкий скачок от полного отрицания ее алкоголизма к отчетливому пониманию всех его возможных причин.

Но вместе с этим приходит и беспощадная хронология. Откуда тебе знать, – может, Сьюзен попивала все годы, что прожила с Маклаудом. Но теперь, живя с тобой, она точно превратилась в алкоголичку, и процесс отнюдь не завершился. Этот вывод вместил в себя столь многое, что сразу и не охватить, а тем более не принять.

* * *

Она сидит в стеганой ночной кофте, вокруг разбросаны газеты, у локтя кружка давно остывшего кофе. Лицо хмурое, подбородок выдвинут вперед, как будто она весь день жует жвачку. Шесть часов вечера; ты – студент-правовед выпускного курса. Сидишь на краешке кровати.

– Кейси-Пол, – заводит она любовно-озадаченным тоном, – я поняла, что между нами нечто всерьез разладилось.

– Возможно, и так, – спокойно отвечаешь ты.

Наконец-то, думается тебе, настал момент для решающего прорыва. Чему быть, того не миновать, правда? Все сходится в точке кризиса, потом начинается жар, а после сознание светлеет и вновь возвращается разумное,

счастливого начало.

– Но я ломаю голову день и ночь – и не улавливаю основного.

Так, что делать дальше? Сразу перейти к теме пьянства? Предложить вновь обратиться к врачу, но уже к специалисту, к психиатру? Тебе двадцать пять лет, ты не готов к таким ситуациям. В газетах не печатают материалов под заголовком «Как помочь своей немолодой любовнице-алкоголичке». Справляться нужно самому. У тебя еще нет концепции жизни, а есть лишь представление о некоторых муках и радостях. Вместе с тем ты по-прежнему веришь в любовь и ее целительную силу, способную изменить человеческую судьбу, и даже две. Ты веришь в ее неуязвимость, стойкость, способность сокрушить любого недруга. По сути, на данный момент это и есть твоя концепция жизни.

И ты стараешься изо всех сил. Берешь Сьюзен за одно запястье и рассказываешь, как вы с ней познакомились, как полюбили друг друга, как вытянули счастливый жребий и соединили свои судьбы, как сбежали в лучших традициях любовников и сейчас продолжаете жить вместе, наполняя смыслом и принимая на веру каждое слово, а потом мягко указываешь, что в последнее время она стала немного злоупотреблять спиртным.

– Ой, вечно ты об одном и том же, – отвечает она, как будто ты какой-то педант, одержимый навязчивой идеей, которая не имеет к ней никакого отношения. – Но если ты ждешь от меня подтверждения, то пожалуйста. Возможно, я иногда выпиваю одну-две капельки сверх того, что мне полезно.

Ты подавляешь свой внутренний голос, который с готовностью подсказывает: «Нет, не одну-две капельки, а одну-две бутылки».

Она продолжает:

– Я говорю о чем-то большем. С моей точки зрения, у нас начались серьезные нелады.

– Ты хочешь сказать, эти нелады подталкивают тебя к выпивке? Быть может, я чего-то не знаю?

Мысли мечутся в поисках какого-то ужасного, определяющего события ее детства, хуже, чем «французский поцелуй» дяди Хамфа.

– Господи, ну и зануда, – подтрунивает она. – Есть кое-что поважнее. То, что за всем этим стоит.

Мало-помалу ты начинаешь злиться.

– И что же, по-твоему, за всем этим стоит?

– Возможно, русские.

– Русские? – Ты даже не кричишь, а... рывкаешь.

– Зачем так кипятиться, Пол? Я же не имею в виду настоящих русских. Это просто фигура речи. Точно так же, как, допустим, ку-клукс-клан, или КГБ, или ЦРУ, или Че Гевара.

Кажется, единственный быстротечный шанс ускользает, и ты не можешь понять, кто в этом виноват: ты, она или никто.

– Ладно, – соглашаешься ты. – Русские – это фигура речи.

Но ей видится в этом только насмешливая издевка.

– Очень плохо, что ты теряешь нить разговора, Пол. За всем этим нечто стоит, нечто невидимое. Нечто, что держит все это вместе. Нечто такое, что, будучи собрано воедино нашими совместными усилиями, могло бы исправить все, исправить нас самих, неужели непонятно?

Ты стараешься из последних сил.

– Нечто вроде буддизма?

– Ой, не говори глупостей. Тебе известно мое отношение к религии.

– Это всего лишь предположение, – благодушно говоришь ты.

– Причем не самое удачное.

Как же стремительно этот разговор, поначалу осторожный, мягкий, обнадеживающий, перешел к чему-то гневливому и язвительному. И как же сильно отдалился от реальной проблемы, которая не «стоит за всем этим», а лежит на поверхности, в каждой точке между бутылками под раковиной, под кроватью и за книжным шкафом; между ее желудком, головой и сердцем.

Возможно, тебе неизвестна причина (если, конечно, существует единственная, четко очерченная причина), но тебе кажется, что работать – и бороться – можно только с теми проявлениями, которые заявляют о себе каждый день.

Естественно, ты в курсе ее отношения к религии. Она решительно не приемлет миссионеров – и тех, кто насаждает веру среди туземцев дальних стран, и тех, кто ходит по домам в предместьях.

Вспоминается и мальтийская история, которую она пересказывала тебе не раз. Когда дочери еще были маленькими, Гордон Маклауд получил назначение на Мальту сроком, кажется, на два года. Она к нему наезжала и время от времени оставалась пожить. Больше всего ей запомнился пасторский велосипед. Да, подтверждала она, там очень сильно влияние католицизма. Церковь – всемогущий институт, люди на редкость послушны. И церковь прижимает всех к ногтю, заставляя женщин как можно больше рожать: на острове невозможно достать противозачаточные средства. В этом отношении страна очень отсталая – «Джон Белл энд Кройден» там бы разнесли по кирпичику, так что все нужно везти с собой.

Короче говоря, продолжает она, иногда случается, что новобрачная не может сразу забеременеть, сколько ни молится. Или, допустим, женщина уже родила двоих и мечтает о третьем, но как-то не получается. И в таких случаях пастор, оседлав свой велосипед, приезжает по нужному адресу и прислоняет велосипед к стене, чтобы никто – в первую очередь муж – не совался в дом, пока велосипед не отъедет. И если через девять месяцев (хотя иногда требуется более одного захода) в семье появляется прибавление, то об этом прибавлении говорят «пасторское дитя» и считают его даром Божиим. В семьях бывает по нескольку пасторских детей. Можешь себе такое представить, Пол? Ты не считаешь, что это варварство?

Да, ты считаешь, что это варварство, и каждый раз заявляешь о своем согласии. А сейчас обреченная, отчаявшаяся, саркастическая часть твоей натуры подумывает: если за этим стоят не русские, то, очевидно, Ватикан.

* * *

Вы все еще спите в одной постели, но близости у вас не было очень давно. Ты даже не уточняешь, в течение какого календарного срока, потому что существенно лишь одно: какой срок отсчитывает сердце. В области секса ты делаешь больше открытий, чем хотелось бы, – или больше, чем позволительно в молодости. Некоторые открытия должны отодвигаться на более поздний жизненный этап, на котором они, вероятно, не столь болезненны.

Теперь ты знаешь, что бывает хороший секс и плохой. Естественно, ты предпочитаешь хороший. Но вместе с тем по молодости лет, с учетом всех обстоятельств, стойко выдерживая превратности судьбы, ты начинаешь думать, что плохой секс все же лучше, чем никакой... А порой даже лучше, чем мастурбация, хотя и не всегда.

Но если ты считаешь, что существуют только такие категории секса, то это ошибка. Потому что есть категория, о существовании которой ты и не подозревал, а если даже слышал или догадывался, то, наверное, счел ее всего лишь разновидностью плохого секса, что тоже ошибочно, потому что категория эта – тоскливый секс. А тоскливый секс – самый тоскливый из всех.

Тоскливый секс – это когда она шепчет, обдавая тебя запахом сладкого хереса, который не перебивается зубной пастой: «Подними мне настроение, Кейси-Пол». И ты не можешь отказать. Хотя, поднимая ей настроение, ты опускаешь свое собственное до нуля.

Тоскливый секс – это когда она уже приняла таблетку (таблетку для поднятия тонуса), но ты считаешь, что обязан ее ублажить, поскольку от этого она может приободриться еще на одно деление.

Тоскливый секс – это когда ты сам в отчаянии, а ситуация столь тупиковая, и предыстория до такой степени гнетущая, и твое душевное равновесие так сильно расшатывается изо дня в день, минуту за минутой, что ты начинаешь думать: надо бы ненадолго, хоть на полчаса, забыться в сексе. Но ни забыться, ни забыть о сохранении душевного равновесия не получается даже на одну наносекунду.

Тоскливый секс – это когда ощущаешь, как ты теряешь контакт с ней, а она – с тобой, но это один из способов сказать друг другу, что связующая нить – о чудо! – еще не порвалась и что ни один из вас не поставил на другом крест, хотя в глубине души ты побаиваешься, что уже пора. И только потом обнаруживаешь, что оберегать связующую нить – все равно что продлевать агонию.

Тоскливый секс – это когда ты занимаешься любовью, а сам планируешь, как бы убить мужа любовницы, хотя, наверное, никогда на это не отважишься – ну, не такой ты человек. Но пока твое тело выполняет свою работу, работает и твой мозг, и ты невольно размышляешь: да, если подкараулить, как муж будет ее душить, можно ударить его по затылку лопатой или пырнуть в спину кухонным ножом, но головорез из тебя никакой, а потому, не ровен час, лопата или нож пройдет по касательной и вонзится не в него, а в нее. И тут этот параллельный дискурс у тебя в голове еще больше утрачивает здравый смысл и предполагает, что, не сумев убить его, но зато убив ее, ты выдал свое тайное намерение поквитаться с этой женщиной, которая нагишом лежит сейчас под тобой, за то, что она на заре твоей жизни втянула тебя в это непроходимое болото.

Тоскливый секс – это когда она трезва, вы оба хотите друг друга и ты знаешь, что будешь любить ее всегда, при любом раскладе, а она будет всегда любить тебя, при любом раскладе, но вы оба, видимо, теперь понимаете, что взаимная любовь не обязательно приносит счастье. И близость превращается не столько в поиск утешения, сколько в безнадежную попытку отрицать взаимное отсутствие счастья.

Хороший секс лучше плохого. Но лучше плохой секс, чем никакого вовсе, за исключением тех случаев, когда отсутствие секса все же лучше, чем плохой секс. Единоличный секс лучше, чем никакой, за исключением тех случаев, когда отсутствие секса все же лучше, чем единоличный секс. Тоскливый секс всегда намного хуже хорошего, плохого, единоличного и никакого. Тоскливый секс – самый тоскливый из всех.

В колледже ты знакомишься с Паулой – приветливой, открытой блондиночкой, которая поступила на юридический после ограниченного срока армейской службы. Взяв у нее конспект пропущенной лекции, ты обращаешь внимание на красивый почерк. Как-то утром приглашаешь ее в кафетерий, потом у вас входит в привычку на большой перемене отправляться в ближайший сквер, чтобы съесть принесенные с собой сэндвичи. В один прекрасный день ты берешь билеты в кино и на прощание целуешь ее. Вы обмениваетесь телефонными номерами.

Вскоре она спрашивает:

- Что это за психичка у тебя там живет?
- Прости? – По спине уже бежит холодок.
- Вчера вечером я тебе позвонила и напоролась на какую-то тетку.
- Это, наверное, была моя квартирная хозяйка.
- Она же явно не в себе.

Ты делаешь вдох.

- У нее бывают некоторые странности.

Тебе уже хочется немедленно прекратить разговор на эту тему. Лучше бы он не начинался вовсе. Лучше бы Паула никогда не набирала твой номер. Но самое главное – ты не хочешь никакой конкретики, однако понимаешь, что ее не избежать.

– Я спросила, когда ты вернешься, а она мне: «Ой, этот парень – грязный потаскун, за ним разве уследишь». А потом и говорит елейным голоском: «Одну минуточку, я сейчас принесу карандашик и передам ему любое сообщение, какое вы только пожелаете продиктовать». Ну, я, конечно, трубку повесила, пока она карандаш искала.

Она выжидающе смотрит на тебя и ждет удовлетворительного объяснения. Многого от тебя не требуется: можно отделаться шуткой. В голове проносятся всякие немыслимые выдумки, но ты выбираешь четвертьправду, не опускаясь до выгодных тебе отговорок; вместе с тем ты упорно занимаешь оборонительную позицию во всем, что касается Сьюзен, а потому только повторяешь:

- У нее бывают некоторые странности.

Стоит ли удивляться, что на этом ваши с Паулой отношения заканчиваются. И ты понимаешь: этот сценарий будет повторяться с любой приветливой и открытой девушкой, которая поманит тебя красивым почерком.

Примерно тогда же ты выбрасываешь из головы прозвища ее родных. Возможно, «Слоновьи Брюки», «мисс Брюзга» и прочие казались веселыми и остроумными в пору юношеских дурачеств и собственнических притязаний любви. Вместе с тем они позволяли шутливо минимизировать присутствие других людей в ее жизни. А если ты теперь считаешь, что повзрослел – пусть вынужденно и преждевременно, – то предоставь и другим вступить в пору зрелости.

Ты замечаешь и кое-что еще: тебе уже не так легко переключаться на сокровенный, дразнящий язык, на котором вы прежде общались. Видимо, взятая тобой ноша на время подавила декоративность любви. Ты, конечно, продолжаешь любить и не устаешь говорить ей об этом, но уже выбираешь выражения попроще. Быть может, когда ты справишься с ее проблемой или она справится с ней самостоятельно, в ваших отношениях вновь появится место для прежней игривости. Предположительно.

Что до Сьюзен, она продолжает использовать словечки, характерные для ее стороны отношений. Таким способом она показывает, что никаких перемен не произошло, что у нее все замечательно, у тебя все замечательно и вообще все-все замечательно. Но и для тебя, и для нее, и для всех остальных это преувеличение, а потому знакомые словечки иногда вызывают укол неловкости, а чаще – блуждающую боль. Входя в дом, ты намеренно шумишь, чтобы привлечь ее внимание, но когда спускаешься на несколько ступенек, в кухню, застаешь Сьюзен в знакомой позе. Раскрасневшаяся, она сидит у газового камина, уставившись в какую-нибудь газету и наморщив лоб, как будто мир без нее не разберется в своих проблемах. Потом она безмятежно поднимает взгляд и говорит: «Где тебя носило всю мою жизнь?» или «Явился, грязный потаскун!», отчего твоя жизнерадостность – пусть даже краткая, напускная, – утекает, как вода в раковину. Строишь вокруг, чтобы оценить обстановку. Заглядываешь в шкафчики со съестными припасами, чтобы из имеющегося приготовить хоть что-нибудь на зуб. Она тебе не мешает и только время от времени отпускает какие-то ремарки, давая понять, что еще способна ориентироваться в газетных материалах.

– Как все запущено, ты согласен, Кейси-Пол?

Ты хочешь уточнить:

– О чем мы сейчас говорим? Где именно?

И она отвечает:

– Ой, да практически повсюду.

Тут ты резче, чем нужно, бросаешь в ведро опорожненную жестянку из-под консервированных помидоров и слышишь ехидное:

– Нервы, нервы, Кейси-Пол!

* * *

В результате многомесячного маневрирования ты убеждаешь ее показаться терапевту, а затем проконсультироваться у психиатра в местной больнице. От твоего сопровождения она отказывается, но ты настаиваешь, предвидя, чем может закончиться ее самостоятельный поход к специалисту. Прием назначен в промежутке от четырнадцати сорока пяти до пятнадцати часов. Под дверью уже сидят с десятков пациентов, и до тебя доходит, что всех записали на одно и то же время, к началу приема. Администрацию можно понять: психи (ты в своем возрасте употребляешь этот термин в широком смысле) не самый пунктуальный народ, поэтому лучше записывать их всем скопом.

Она, похоже, собирается ускользнуть под видом посещения дамской комнаты. Приходится ее отпустить, хотя ты понимаешь, что шансы на ее возвращение – пятьдесят на пятьдесят. Но она все же возвращается, и ты ловишь себя на циничном подозрении, что бегала она не в туалет, а в больничный магазин – посмотреть, не продают ли там спиртное, и выведать, где находится бар, которого, к ее досаде, в больнице не оказалось.

Ты убеждаешься, что сочувствие и неприязнь способны к сосуществованию. Открываешь для себя, что в одном и том же человеческом сердце благополучно уживается множество несовместимых, казалось бы, чувств. Злишься на прочитанные книги, которые не подготовили тебя к этому открытию. Ты определенно читал не те книги. Или читал не так.

Впрочем, даже на этой поздней, проникнутой отчаянием стадии мир твоих эмоций куда увлекательнее, чем у твоих приятелей. Они (в большинстве случаев) завели себе подружек (в большинстве случаев) своего возраста и подверглись родительской инспекции, заслужив одобрение, неодобрение или отсрочку приговора. У многих уже созрел план женитьбы на нынешней подружке или на какой-нибудь другой, но очень на нее похожей. План стать домоседом. Но в настоящее время они предаются лишь традиционным, чистым и румяным радостям, видят

здоровые сны и готовятся к первоначальным разочарованиям молодых людей, которым, как и их подругам, слегка за двадцать. Ну а ты сидишь в больничном коридоре среди психов, влюбленный в женщину с предварительным диагнозом «сумасшествие».

И вот ведь что странно: какая-то часть твоей натуры ликует. В голове крутится: ты не просто любишь Сьюзен сильнее, чем парни любят своих подружек (это уж точно: иначе ты не сидел бы сейчас в одной очереди с придурками), но еще и живешь более яркой жизнью. Другие, возможно, меряются мозгами и бюстами своих девушек, а также банковскими счетами будущих родственников и мнят себя победителями, но ты вырвался далеко вперед, потому что твой роман более увлекателен, сложен и неразрешим. И доказательством этому служит то, что ты в данный момент сидишь на компактном металлическом стуле, лениво просматриваешь оставленный кем-то журнал, а твоя любимая тем временем замышляет... что? Бегство, конечно же. Бегство из здешних мест, бегство от тебя, бегство от жизни? Под грузом экстремальных, невыносимых и несовместимых эмоций она поразительна. Вы оба терзаетесь глубинной болью. И все же, зная дурацкий, похотливый мир мужской состязательности, ты говоришь себе, что вышел победителем. А когда ты в своих размышлениях доходишь до этого места, следующий логический шаг приведет тебя к такому заключению: ты и сам не вполне нормален. Ты явный, полный, законченный психо-дрихо-помешанный. Однако в этом коридоре ты самый юный из всех дебилов. Так что победа опять за тобой! Бывший чемпион школы по боксу в возрастной группе до шести лет и в весовой категории до тридцати семи кило дорос до чемпиона больницы в возрастной группе до двадцати шести лет и в категории придурков!

Дверь кабинета распаивает шарообразный лысый человечек в костюме.

– Мистер Эллис, – негромко выкликает он.

Ответа нет. Знакомый с рассеянностью, выборочной глухотой и другими недостатками своих пациентов, консультант поднимает голос:

– МИСТЕР ЭЛЛИС!

Со стула поднимается какой-то старый идиот в трех свитерах и теплой куртке; махровая головная повязка прижимает десяток седых прядей, свисающих с макушки. Он озирается, будто ожидая аплодисментов за узнавание своей фамилии, а потом устремляется в кабинет.

К тому, что за этим следует, ты не подготовлен. Тебе отчетливо слышен голос психиатра:

– Ну-с, как наше самочувствие, мистер Эллис?

Ты уставился на закрытую дверь. Нижнюю филенку отделяет от пола щель шириной в ладонь. Нетрудно догадаться, что консультант стоит лицом к двери. Ответ старого глухого идиота до тебя не долетает, но ответа, вероятно, и не было, потому что вслед за этим во всеуслышанье задается следующий вопрос:

– КАК НАША ДЕПРЕССИЯ, МИСТЕР ЭЛЛИС?

У тебя нет уверенности, что Сьюзен прислушивается. Для себя ты уже решил, что этот поход – напрасная затея.

* * *

Ее держит неотступный стыд. Тебе тоже свойствен стыд, который иногда выдает себя за гордость, иногда за некую благородную реалистичность, но в основном – за самое себя: за стыд.

* * *

Как-то вечером ты возвращаешься домой и застаешь ее в кресле, пьяную, со стаканом для воды под рукой; в нем на добрых два пальца жидкости, не воды. Ты решаешь сделать вид, будто все это совершенно нормально – в семейном кругу дело житейское. Идешь на кухню, высматриваешь что-нибудь одно, из чего готовится что-нибудь другое. Находишь яйца, спрашиваешь, делать ли на нее омлет.

– Тебе-то все нипочем, – воинственно произносит она.

– Что именно мне нипочем?

– Вот это умный ответ юриста, – говорит она, прихлебывая из стакана прямо у тебя перед носом, чего обычно не делает. Ты уже собираешься идти взбивать яйца, но тут она добавляет: – Сегодня умер Джеральд.

– Который? – Ты перебираешь своих знакомых, не сразу сообразив, есть ли среди них парень с таким именем.

– Который Джеральд, говоришь, мистер Умник? *Мой Джеральд.* Мой Джеральд – я тебе много о нем рассказывала. Тот, с кем я была помолвлена. Сегодня день его памяти.

Тебе становится тошно. Не потому, что ты забыл эту дату – Сьюзен никогда ее не называла, а потому, что у нее, в отличие от тебя, есть возможность вспомнить своих покойных. Жених, брат, пропавший без вести над Атлантикой, отец Гордона, чье имя ты уже запаматовал, – он

питал к ней слабость. У тебя подобных дат нет – ни скорбей, ни дыр, ни утрат. Так что тебе не понять, каково это. С твоей точки зрения, человеку необходимо вспоминать своих покойных, а окружающие должны уважать эту потребность и желание. На самом деле ты даже позавидовал и пожалел, что тебе некого помянуть.

Потом у тебя закрадывается подозрение: ведь она никогда не упоминала день памяти Джеральда. А возможности проверить нет. Точно так же, как в более счастливые минувшие дни не было возможности проверить, когда она сообщала тебе, сколько раз вы с ней занимались любовью. Видимо, услышав поворот ключа в дверном замке, она не сумела подняться на ноги и не пожелала прятать стакан, а потому решила – нет, этот глагол не подходит, он подразумевает целенаправленный мыслительный процесс, несовместимый с ее тогдашним состоянием, – она «поняла», да, внезапно поняла, что это день памяти Джеральда. С таким же успехом она могла назвать Алека или своего свекра. Кто мог бы поручиться? Кто знал? И кто, в конце-то концов, брал в голову?

* * *

Я упоминал, что никогда не вел дневник. Это не совсем так. Однажды в пору одиночества и растерянности я подумал, что было бы неплохо делать какие-нибудь записи. Для этой цели я приготовил блокнот в твердой обложке и черные чернила; писал на одной стороне листа. Пытался быть объективным. Мне казалось, нет смысла просто выплескивать боль предательства. Помнится, первая же строчка гласила:

Все алкоголики – лжецы.

Эта сентенция, конечно, не основывалась на масштабном опросе или исследовании. Но в то время у меня сложилось именно такое убеждение, и теперь, спустя не один десяток лет и набравшись опыта, я вижу, что это неоспоримая истина. Я продолжал:

Все влюбленные – правдолюбы.

И снова количество информантов было невелико – главным образом я сам. Мне казалось очевидным, что любовь и правда всегда взаимосвязаны и, более того, как, возможно, уже говорилось, погружение в любовь означает погружение в правду.

А дальше – вывод из этого подобия силлогизма:

Таким образом, алкоголик – антипод влюбленного.

Вроде бы это не только звучало вполне логично, но и соответствовало

моим наблюдениям.

Сейчас, спустя столько времени, второе из вышеприведенных суждений уже не выглядит столь убедительным. У меня накопилось много примеров того, как влюбленные отнюдь не погружаются в правду, а обитают в некоем придуманном мире, где царят самообман и самовозвеличивание, но нет места реальности.

И тем не менее, когда я, пытаясь сохранять объективность, собирал материал, субъективность брала надо мной верх. Например, вспоминая свою жизнь в Деревне, я осознал, что, как влюбленный и правдолюб, говорил правду только себе и Сьюзен. Я врал отцу с матерью, врал родным Сьюзен и своим друзьям; лицемерил даже в теннисном клубе. Защищал зону правды бастионом лжи. А теперь Сьюзен постоянно врала мне, что не пьет. Точно так же она врала и самой себе. И все-таки до сих пор твердила, что любит меня.

В общем, я заподозрил, что ошибался, считая алкоголизм противоположностью любви. Возможно, они были взаимосвязаны намного теснее, чем я думал. Алкоголизм вызывает такую же одержимость и такой же эгоцентризм, как сама любовь, и, быть может, спиртное действует на алкоголика так же сильно, как лавина чувств – на влюбленного. Может, алкоголики – это просто влюбленные, поменявшие объект своей любви?

Когда я однажды вернулся домой и обнаружил Сьюзен в уже хорошо знакомом мне состоянии – покрасневшую, косноязычную, обидчивую и в то же время деликатно притворяющуюся, что все к лучшему в лучшем из миров, – мои наблюдения и мысли тянули на несколько десятков страниц. Я направился к себе в комнату и обнаружил, что кто-то похозяйничал в моем письменном столе. Даже тогда я не изменял привычке к аккуратности и знал, где что хранится. А поскольку в одном из ящиков стола лежали заметки об алкоголизме, я предположил, без всякой радости, что она, вероятно, их прочла. И все же у меня теплилась надежда, что она испытает шок, который в конце концов ее исцелит. Но пока этого определенно не произошло.

В следующий раз, открыв дневник, я увидел, что Сьюзен не просто прочла его от корки до корки. Под моей последней записью она оставила записку, выполненную той же авторучкой, заправленной черными чернилами. Корявым почерком было написано:

Чернильной ручкой чтобы меня возненавидеть.

Объяснять ей, что рыться в моем столе, читать дневник и делать в нем записи она не имеет права, я не стал. Нетрудно было вообразить, как она с ноткой протеста скажет: «Нет, у меня другое мнение». Вечные споры меня

изматывали. Однако потом мне надоело постоянно притворяться, что все хорошо, и постоянно увиливать от правды. Я также осознал, что в дальнейшем, если возникнет желание сделать новую запись, меня будет неизбежно преследовать такой образ: сидя за моим столом, она изучает последние обвинения. Это было бы невыносимо для нас обоих: мои заметки, пронизанные болью, и ее глупое, но сердитое признание вины за эту боль. Так что дневник я выбросил.

Но это ее обрывочное предложение, выведенное дрожащими пальцами и непривычной для нее ручкой, по сей день остается в моей памяти. Хотя бы из-за его неоднозначности. Что она хотела сказать: «Ты пишешь всякий бред этой чернильной ручкой, чтобы меня возненавидеть» или же «Я сделала запись этой чернильной ручкой, чтобы мы мог меня возненавидеть»? Осуждающее, агрессивное послание – или же мазохистское, полное саможаления? Видимо, она имела в виду что-то конкретное, когда писала те слова, но это осталось за пределами моего понимания. Вы, быть может, посчитаете вторую трактовку сильно преувеличенной и зафиксированной с тем, чтобы освободить меня от ответственности. Тем не менее – это и послужило основой для других моих давно утраченных заметок – алкоголик, как показывает мой житейский опыт, хочет спровоцировать других, оттолкнуть помощь, оправдать свое одиночество. И если она смогла убедить себя в том, что я ее ненавижу, это было еще одной причиной взяться за бутылку для утешения.

* * *

Ты везешь ее куда-то в машине. Бояться не надо, ты же скоро заберешь ее домой. Усадить ее в автомобиль непросто: она, как всегда, тянет время. А когда ты уже готов отпустить ручной тормоз, она вдруг срывается с места, бежит в дом и возвращается с большим ярким мешком для грязного белья, который ставит себе в ноги. И ничего не объясняет. А ты не спрашиваешь. Вот до чего дошло.

А потом думаешь: «Какого черта?»

И все же задаешь вопрос:

– Это тебе зачем?

– Видишь ли, – отвечает она, – я неважно себя чувствую, вдруг меня стошнит? Машина, то-се.

Нет, не так, думаешь ты: пьянство, то-се. Знакомый врач рассказывал, что у алкоголиков бывает жесточайшая рвота, способная повредить

пищевод. Во время этого разговора ее не тошнит – возможно, оттого, что уже вырвало в доме. У тебя в голове всплывает картина, как ее рвет в этот желтый мешок, а ты вынужден смотреть. И слушать ее спазмы и плеск рвотных масс в ярко-желтом пластике. Увертки, ложь. Она лжет – лжешь и ты.

Потому что проблема уже не в том, что она обманывает тебя. В таких случаях есть два пути: бросить ей все нелицеприятные слова или принять сказанное ею. Как правило, от усталости и желания покоя (а еще – да – из любви) ты принимаешь сказанное. Закрываешь глаза на ложь. И сам становишься лжецом. А когда ведешься на ее обман, вскоре начинаешь обманывать себя – от усталости и желания покоя, а еще из любви – да, из-за этого тоже.

Какой же долгий пройден путь. Много лет назад, обманывая отца и мать, ты не задумывался о последствиях и даже получал некоторое удовольствие, поскольку считал, что так закаляется характер. Потом лгать приходилось во всем – чтобы защитить ее саму и вашу любовь. Затем она начинает лгать тебе, чтобы ты не выведал ее тайну, и лжет с некоторым удовольствием, не думая о последствиях. В конце концов ты сам начинаешь ей лгать. С какой целью? Возможно, для того, чтобы оградить свое личное пространство, которое ограждает тебя. И вот к чему это привело. Куда же делись любовь и искренность?

Ты задаешься вопросом: остаться с ней – это мужество или трусость? А может, и то и другое сразу? Или это просто неизбежность?

* * *

У нее появилась привычка ездить в Деревню по железной дороге. Ты не возражаешь, полагая, что она просто-напросто не в состоянии вести машину. Подбрасываешь ее до вокзала, она сообщает время прибытия обратного поезда, но чаще всего приезжает лишь на следующем или еще позже. А когда ты слышишь: «Не нужно меня встречать» – это она защищает свой внутренний мир. И, отвечая: «Ладно, с тобой же ничего не случится?» – защищаешь свой.

Однажды раздался телефонный звонок.

– Это Генри?

– Нет, простите, вы ошиблись номером.

Ты уже собираешься положить трубку, но человек на другом конце отчеканивает твой номер.

– Да, верно.

– Тогда добрый вечер, сэр. Вас беспокоят из отдела транспортной полиции вокзала Ватерлоо. У нас тут дама... немного не в себе. Мы обнаружили ее спящей в поезде, и, знаете ли, сумочка у нее была открыта, а там деньги, ну, сами понимаете...

– Да, понимаю.

– Она дала нам этот номер и назвала имя Генри.

Вдалеке слышится ее голос: «Свяжитесь с Генри, свяжитесь с Генри».

То есть, надо понимать, с Генри-роуд.

И вот ты несешься на вокзал Ватерлоо, находишь отдел транспортной полиции, а там она с блеском в глазах ждет (как ни в чем не бывало), чтобы за ней приехали. Двое полицейских ведут себя корректно и участливо. Им явно не впервой помогать пьяным дамочкам, заснувшим в вагонах. Нельзя сказать, что она старая, но в нетрезвом виде внезапно уподобляется старухе.

– Ладно, спасибо, что вы за ней присмотрели.

– О, что вы, сэр, нам нетрудно. Она сидела тихо как мышка. Берегите себя, мадам.

Она чинно и одобрительно кивает. Похожа на забытую ручную кладь. Ты берешь ее за руку и уводишь. Немного смягчаешься и даже гордишься тем, что она никому не доставила неудобств. А вдруг все-таки доставила?

* * *

В конечном итоге, больше от отчаяния, нежели с надеждой на успех, ты, по собственному выражению, проявляешь любовь в жесткой форме. Нельзя допустить, чтобы эта выходка сошла ей с рук. Ты открыто бросаешь ей обвинения во лжи. Выливаешь содержимое всех бутылок, какие только находишь дома; и на видных местах, и в самых непредсказуемых – скорее всего, она их припрятала спьяну и позабыла. Договариваешься в трех местных магазинах, торгующих алкоголем, чтобы ее не обслуживали. Для верности в каждом из них оставляешь кассирам ее фото. Ей об этом не говоришь, рассчитывая, что она, услышав отказ, испытает потрясение. Что из этого получилось – неизвестно, только она эмпирическим путем нашла выход: есть же магазины и подальше.

В округе множатся слухи. Одни приятели стесняются тебе рассказывать, другие – нет. В миле от Генри-роуд знакомый парень засек ее из автобуса: она стояла в переулке напротив винного магазина,

присосавшись к только что купленной бутылке. Этот образ не выходит у тебя из головы и прожигает глубокий след в памяти. Сосед поведал, что, мол, в субботу в «Кэп энд беллз» твоя старушка у него на глазах опрокинула одну за другой пять порций вишневой настойки, после чего ей перестали наливать.

– В такой забегаловке ей не место, – озабоченно добавляет сосед. – Там околачивается всякий сброд.

Нетрудно вообразить, как она вначале стыдливо делает первый заказ у стойки, а под конец неверной походкой ковыляет домой, и это тоже становится одним из твоих воспоминаний.

Ты заявляешь, что ее поведение убивает твою любовь к ней. О ее любви к тебе говорить не приходится.

– Ну, брось меня. – Заливаясь краской, она не теряет достоинства и способности к логическому мышлению.

Этого ты не сделаешь. Неизвестно только, знает ли об этом она.

Пишешь ей письмо. Если твои увещевания влетают у нее в одно ухо и тут же вылетают в другое, то, быть может, ее проймет написанное пером. Ты указываешь, что при таком образе жизни ей грозит смерть от отека мозга и что ты больше ничего не сможешь для нее сделать – разве что прийти на ее похороны, когда пробьет час. Письмо оставляешь на кухонном столе, в конверте с ее именем. Она не признается, что нашла, вскрыла, прочла. *Чернильной ручкой чтобы ты меня возненавидел.*

Понятно, что проявление жесткой формы любви жестко сказывается и на самом влюбленном.

* * *

Ты едешь с нею в Гэтвик. Марта пригласила ее в Брюссель, где работает в администрации Европейского экономического сообщества. К твоему удивлению, Сьюзен соглашается. Ты обещаешь, насколько это возможно, облегчить ей поездку. Отвезти в аэропорт, помочь зарегистрироваться на рейс.

Она кивает, а потом без обиняков говорит:

– Перед полетом тебе, наверное, придется разрешить мне сделать глоточек... Для храбрости.

Ты чувствуешь не просто облегчение: почти воодушевление.

Накануне отъезда она наполовину готова и наполовину пьяна. Ты идешь спать. Она продолжает собираться и пить. Наутро заходит к тебе,

прикрывая рот ладонью.

– К сожалению, поездку придется отменить.

У тебя пропадает дар речи.

– Я потеряла зубную пластину. Не знаю, где искать. Вероятно, я ее выронила в саду.

Ты говоришь только одно:

– В два часа выезжаем.

Пусть и дальше ломает себе жизнь.

Очевидно, в этом случае отсутствие твоей реакции – упреков, предложения помощи – оказывается единственно правильной позицией. Через час-другой она уже расхаживает со своей зубной пластиной, не упоминая ни потерю, ни находку.

В четырнадцать часов ты кладешь ее чемодан в багажник и, повторно проверив билет и паспорт, заводишь двигатель. Она не чудит, не бежит за ярко-желтым мешком для грязного белья. Сидит рядом с тобой – говоря словами того вокзального полицейского, тихо как мышка.

На подъезде к Редхиллу она поворачивается к тебе и спрашивает удивленным и сдержанным тоном, как будто ты ей не возлюбленный, а шофер:

– Нельзя ли узнать, куда мы направляемся?

– Ты летишь в Брюссель. К Марте.

– О, это вряд ли. Здесь какая-то ошибка.

– У тебя в сумочке билет и паспорт.

Хотя на самом деле они у тебя в кармане, чтобы не пропали, как ее вставная челюсть.

– Но я даже не знаю, где она живет.

– Она встретит тебя в аэропорту.

Пауза.

– Да, – говорит Сьюзен и кивает. – Кажется, припоминаю.

Больше она не сопротивляется. Ты уже подумываешь, что ей на шею надо бы повесить табличку с фамилией и местом назначения, как у беженцев. И возможно, дать ей с собой футляр с противогазом.

В баре ты заказываешь для нее двойную порцию хереса, которую она потягивает с безмятежным изяществом. Ты думаешь: могло быть и хуже. Вот так ты теперь реагируешь на происходящее. Постоянно готовясь к худшему.

Поездка оказывается удачной. Она посмотрела город, привезла тебе открытки. Мисс Брюзга, заявляет она, стала Не Такой Брюзгой – не иначе как под влиянием очаровательного молодого бельгийца, который не

отходил от нее ни на шаг. Ее воспоминания удивляют своей четкостью, и это признак того, что она знала меру. Ты рад за нее, но несколько раздосадован, что ради других она делает над собой усилие, а ради тебя – с большим трудом. По крайней мере, такое создается впечатление.

Но потом она рассказывает, что перед отъездом вскрылась истинная причина такого дочернего внимания. Она, мисс Брюзга, настаивает, чтобы мать вернулась к мистеру Гордону Маклауду. Который теперь очень раскаивается и в случае возвращения жены обещает вести себя безупречно. Это – со слов Сьюзен со слов дочери.

* * *

Чтобы не терять время попусту и не растрачивать эмоции, ты в лоб называешь ее алкоголичкой. Не мямлишь: «У нас, кажется, проблема», «Понимаешь ли ты, чем это может обернуться?», «Вероятно, я мог бы предложить...» – ничего такого. Настает день, когда ты попросту советуешь ей обратиться в организацию «Анонимные алкоголики», даже не выяснив, где находится ближайшее отделение.

– Я к этим святошам не пойду, – упирается она.

Учитывая ее нелюбовь к пасторам и крайнюю неприязнь к миссионерам, такая реакция понятна. Вне сомнения, она считает «Анонимных алкоголиков» очередной кучкой американских миссионеров, которые вмешиваются в систему верований других стран, навязывая сирым и убогим лучезарные представления о чуждом Боге. Ты ее не винишь.

По большому счету тебя хватает лишь на то, чтобы справляться с повседневными кризисами. Порой, заглядывая в будущее, ты видишь один исход, подчиняющийся жуткой логике. И предстает он следующим образом. Пусть даже она пьет нерегулярно. От случая к случаю. Может день-другой не заглядывать в бутылку. Но от пьянства у нее слабеет память. Логика такова: если ослабление памяти пойдет нынешними темпами, то, возможно, настанет момент, когда она забудет и о том, что сама алкоголичка! Возможно ли такое? Это был бы шанс на исцеление. Но одновременно ты думаешь: да ведь с тем же успехом можно сразу электрошоком бабахнуть.

Но вот в чем загвоздка. Положа руку на сердце, ты не считаешь алкоголизм соматическим заболеванием. Бытует и противоположное мнение, но оно тебя не убеждает. Ты по примеру многих (даже тех, с кем не желаешь иметь ничего общего) расцениваешь пристрастие к алкоголю как

проблему нравственного порядка. В частности, потому, что так расценивает его сама Сьюзен. В минуты просветления, здравомыслия, рациональности и нежности она наравне с тобой мучается от происходящего и говорит тебе – далеко не впервые, – что ненавидит себя за пьянство, что глубоко стыдится и сознает свою вину, а потому настаивает, чтобы ты ее бросил, так как она «никчемная». Ее заболевание – нравственного порядка, поэтому ни больницы, ни врачи не смогут ее вылечить. Им не под силу исцелить порочную личность, принадлежащую к отработанному поколению. И в который раз она просит тебя ее бросить.

Но ты не можешь бросить Сьюзен. Разве мыслимо лишить ее твоей любви? Если не ты, то кто же будет ее любить? А может, все еще сложнее. Дело же не только в том, что ты ее любишь, а в том, что она стала для тебя пагубным пристрастием. Вот ведь ирония, да?

* * *

И однажды у тебя в голове возникает некий образ: образ ваших отношений. Ты стоишь у окна мансарды в доме на Генри-роуд. Каким-то образом Сьюзен выбралась из окна, и ты ее удерживаешь. За запястья, конечно. Но тяжесть ее тела не дает тебе втянуть ее обратно. Ты напрягаешь все силы, чтобы она не утащила тебя за собой. В какой-то момент она раскрывает рот, чтобы закричать, но не издает ни звука. Вместо этого у нее изо рта вываливается челюсть и с пластмассовым стуком ударяется о землю. А вы оба застряли наверху, сцепленные вместе, и не шевельнетесь до твоей полной потери сил – до ее падения.

Это всего лишь метафора – или самый страшный сон; и все же некоторые метафоры застревают в мозгу прочнее, чем воспоминания о реальных событиях.

* * *

В голову приходит и другая картина, основанная уже на реальных событиях. Вы снова в Деревне, вдвоем, на вершине своей любви, безмолвно и полностью поглощенные друг другом. На ней надето ситцевое платье с цветочным рисунком, и, зная, что ты на нее смотришь (а ты постоянно на нее смотришь), она бросается на диван с ситцевой цветочной обивкой и говорит: «Смотри, Кейси-Пол, я исчезаю! Это фокус!»

И на какой-то миг ты отчетливо видишь только ее лицо и ноги в чулках.

Теперь она снова показывает фокус с исчезновением. Тело ее здесь, а все, что внутри – сознание, память, душа, – ускользает. Ее память затмевают сумрак и ложь, а связность достигается лишь за счет измышлений. Разум ее колеблется между ошеломленной инертностью и истерическим непостоянством. Но душа показывает фокус с исчезновением, и выдержать это труднее всего. Как будто Сьюзен своими метаниями всколыхнула ту грязь, что таится на дне у всех и каждого. Из-за этого на поверхность поднимаются безадресный гнев и страх, отчаяние и грубость, эгоизм и недоверие. Торжественно заявляя тебе, что, по ее твердому убеждению, ты поступаешь с ней не просто мерзко, но преступно, она сама этому верит. В ней не остается и следа нежности, смешливости, доверительности – того, что определяло характер женщины, которую ты полюбил.

Отменяя встречи с друзьями, ты объяснял:

– Поймите, у нее сегодня плохой день. Она сама не своя.

А когда они видели ее пьяной, говорил:

– Она все та же – это маска. Под маской она все та же.

Сколько раз ты повторял это другим, обращаясь на самом деле к себе?

И однажды настает день, когда ты перестаешь верить этим словам. Ты больше не веришь, что это маска и под ней все, как прежде. Ты убеждаешься, что «сама не своя» – это ее новая сущность. Ты страшишься, что напоследок она до конца исполнит свой трюк с исчезновением.

* * *

Но ты предпринимаешь последнее усилие, и она тоже. Ты определяешь ее на лечение. Не в клинику Британской национальной лиги трезвости, как планировал, а в женское отделение больницы общего профиля. Усаживаешь ее на скамью, пока медрегистратор заполняет карту, и еще раз деликатно, уже в который раз втолковываешь, как она дошла до такой жизни, как ее будут лечить и каких результатов можно ожидать.

– Я сделаю все возможное, Кейси-Пол, – нежно говорит она.

Ты целуешь ее в висок, обещаешь навещать ежедневно. И держишь слово.

Для начала ее на трое суток погружают в забытие, чтобы беспрепятственно вывести из организма алкоголь и в то же время

успокоить взбудораженный рассудок. Ты сидишь возле нее, оберегая ее легкий сон, и думаешь, что на этот раз все получится. На этот раз ей обеспечен должный медицинский надзор, поставлен диагноз (и даже она сама не спорит) и дело наконец-то сдвинется с мертвой точки. Ты смотришь на ее умиротворенное лицо, вспоминаешь ваши самые счастливые годы и надеешься их вернуть.

Придя на четвертый день, ты по-прежнему застаешь ее спящей. Требуешь встречи с врачом, и к тебе выходит стажер лет двадцати с папкой-планшетом в руках. Ты спрашиваешь, почему больная до сих пор под действием снотворного.

– Сегодня утром мы ее разбудили, но она сразу же начала буянить.

– Буянить?

– Да, напала на медсестер.

Ты не веришь своим ушам. Просишь его повторить. Он повторяет.

– Пришлось вновь погрузить ее в сон. Да вы не волнуйтесь, препарат очень легкий. Я вам покажу.

Он чуть-чуть поправляет капельницу. Почти сразу Сьюзен начинает шевелиться.

– Убедились?

Затем он снова регулирует капельницу – и Сьюзен засыпает. Тебе видится в этом нечто зловещее. Ты вверил ее заботам какого-то желторотого технократа, который не представляет, какой она была.

– А вы ей кто будете?

– Крестник, – отвечаешь ты на автомате. А может, «племянник» или «квартиросъемщик». Ну хотя бы последние буквы совпадают.

– Что ж, если после пробуждения она снова начнет проявлять агрессию, придется ее перевести на психиатрическое отделение.

– Психиатрическое? – Ты в ужасе. – Но она не сумасшедшая. Она страдает от алкоголизма, ей требуется лечение.

– И другим пациентам тоже. И еще им нужен сестринский уход. Мы не можем подвергать опасности наш персонал.

Ты все еще не веришь его первоначальному сообщению.

– Но вы же... не имеете права перевести ее туда своим волевым решением.

– Совершенно верно, для этого потребуются две подписи. Но в подобных случаях это всего лишь формальность.

Ты понимаешь, что здесь ей отнюдь не гарантирована безопасность. Она попала в лапы какого-то фанатика, который в прежние времена запеленал бы ее в смиренную рубашку и вдобавок назначил

электрошоковую терапию. Сьюзен назвала бы такого «гитлеришкой». Кто знает, может, она так и сделала. Отчасти ты на это надеешься.

И говоришь:

– Я хочу присутствовать при ее следующем пробуждении. Мне кажется, это будет полезно.

– Да без проблем, – говорит этот выскочка, которого ты уже ненавидишь всеми фибрами души.

Но, как обычно бывает в больницах, на следующий день этого самоуверенного гаденьша на дежурстве нет, и больше ты его не увидишь.

Вместо него у капельницы стоит женщина-врач.

Сьюзен медленно приходит в себя. Поднимает взгляд и с улыбкой спрашивает:

– Где тебя носило всю мою жизнь? Грязный потаскун.

Врач немного удивлена, но ты целуешь Сьюзен в лоб, и вас оставляют наедине.

– Едем домой?

– Пока нет, родная, – говоришь ты. – Тебе придется еще немного побыть здесь. Пока не вылечишься.

– Но со мной все в порядке. Я совершенно здорова и требую, чтобы ты сейчас же отвез меня домой. На Генри-стрит.

Ты сжимаешь ее запястья. Сжимаешь крепко. Объясняешь, что ее не выпишут до полного выздоровления.

Напоминаешь про ее обещания. Рассказываешь, как она бросилась на медсестер, когда ее разбудили.

– Сильно сомневаюсь, – говорит она отчужденно и свысока, будто ты невежественный раб.

После долгих увещаний ты просишь ее сдержать свое слово и вести себя как следует. Хотя бы до твоего завтрашнего прихода. Она не отвечает. Ты настаиваешь. Тогда она дает согласие, но с хорошо знакомым тебе упрямством в голосе.

На следующий день тыходишь к палате в ожидании худшего: что ее снова погрузили в сон, а то и отправили в психиатрическое отделение. Но у нее оживленный вид и здоровый цвет лица. Приветствует тебя, как будто ты явился с официальным визитом. Мимо проходит медсестра.

– Горничные здесь чертовски хороши, – говорит она, помахав рукой проплывающей мимо фигуре.

Начинаешь думать: как быть? Подыграть? Возразить? Наверное, лучше не идти у нее на поводу.

– Это не горничные, Сьюзен, это медсестры.

Начинаешь думать: вероятно, она перепутала «больницу» и «гостиницу». Простая оговорка.

– Среди них есть и медсестры, – кивает она. Потом, расстроенная отсутствием у тебя проницательности, добавляет: – Но большинство – горничные.

Ты не заостряешь на этом внимание.

– Я им все про тебя рассказала, – говорит она.

У тебя падает сердце, но и это ты оставляешь без внимания.

На следующий день она снова в тревоге. Встала с постели, сидит в кресле. На тумбочке лежат пять пар очков и непонятого происхождения книжка П. Г. Вудхауса – просто мистика.

– Откуда эти очки?

– А, – отмахивается она, – сама не знаю. В подарок принесли, наверно.

Нацепив чужие очки, она открывает книгу на первой попавшейся странице:

– Ужасно смешно, правда?

Ты соглашаешься. Ей всегда нравился Вудхаус, и ты усматриваешь здесь добрый знак. Начинаешь рассказывать, что пишут в газетах. Упоминаешь открытку, полученную от Эрика. Сообщаешь, что на Генри-роуд все в порядке. Она слушает вполуха, потом хватает другую пару очков – опять же не своих, – вновь наобум открывает книгу и, похоже ничего не видя в этих очках, заявляет:

– Бред какой-то, правда?

У тебя вот-вот случится разрыв сердца, прямо здесь.

На следующий день ее снова накачали снотворным. Заговаривая с тобой, ее соседка осведомляется, какой диагноз «у вашей бабули». Ты уже настолько обессилен, что отвечаешь:

– Алкоголизм.

Женщина брезгливо отворачивается к стенке. Ты читаешь ее мысли: с каких это пор пьянчужкам отводят лучшие койки? А тем более – спившимся женщинам? Ты обнаружил такую закономерность: у алкоголиков-мужчин часто бывает забавный, даже трогательный вид; молодым, неуправляемым алкоголикам обоего пола обычно потекают; но женщины-алкоголички, достаточно взрослые, чтобы отвечать за свои поступки, чтобы быть матерями, а то и бабушками, считаются последними ничтожествами.

Назавтра она снова бодрствует и не смотрит в твою сторону. Ты просто сидишь рядом. Взгляд упирается в стоящий перед ней поднос. На сей раз ночной рейд принес ей всего две пары чужих очков и еще бульварную

газетенку, которую она не потерпела бы в своем доме.

– Я считаю, – наконец возмещает Сьюзен, – что ты прослывешь одним из самых изощренных преступников за всю историю.

Ты уже склонен согласиться. Почему бы и нет?

Угрозы перевести ее на психиатрическое отделение прекратились: желторотый гитлеришка упражняется в черной магии на других, менее агрессивных пациентах. Но тебе сообщают, что продолжать ее лечение нецелесообразно, что отдых, по всей видимости, пошел ей на пользу, что это место совершенно ей не подходит и вообще пора освобождать койку. Все предельно ясно, и тем не менее возникает вопрос: а какое место ей подходит? И за этим вопросом стоит другой, более общего свойства: есть ли вообще для нее место в этом мире?

Когда вы с ней уходите, соседка по палате демонстративно не смотрит в вашу сторону.

* * *

Тебе потребовалось несколько лет, чтобы понять, сколько тревог и адских страданий стоит за ее насмешливым пренебрежением. Вот почему ей нужен ты, твердый и решительный. Ты по доброй воле и по любви взял на себя нынешнюю роль. В ней ты ощущаешь себя достаточно взрослым, чтобы стать гарантом. Это, конечно, означает, что в течение большей части своего третьего десятка ты был вынужден отказаться от всего, чем наслаждались твои ровесники: не мог напропалую трахаться с девчонками, дрейфовать, как хиппи, по миру, баловаться наркотиками, срываться с катушек и просто валять дурака. Пришлось отказаться и от алкоголя; но в конце-то концов, у тебя перед глазами постоянно была наглядная антиреклама спиртных напитков. Сьюзен ты ни в чем не упрекал (за исключением разве что невозможности выпить) и не считал, что взвалил на себя непосильное бремя. Так уж сложились ваши отношения. Благодаря им ты повзрослел, или достиг зрелости, хотя и не вполне обычным способом.

Но когда между вами начинаются трения, когда все твои попытки спасти ее терпят крах, ты признаешься себе кое в чем, от чего, собственно, и не прятался – просто не успевал заметить: эта особая динамика ваших отношений вызывает и у тебя свою, особую панику и адские муки. Притом что однокашники по юридическому факультету вроде бы считают тебя приветливым и здравомыслящим, хотя и немного замкнутым, под этой видимостью в тебе клокочет смесь неоправданного оптимизма и

невыносимого беспокойства. Твой внутренний настрой резко меняется в зависимости от ее состояния; хотя ее жизнерадостность, даже неуместная, видится тебе подлинной, а твоя собственная – сугубо условной. Сколько еще продлится этот крошечный миг счастья, спрашиваешь ты себя раз за разом. Месяц, неделю, двадцать минут? Разумеется, определенного ответа нет, поскольку от тебя это не зависит. Да, твое присутствие действует на нее благотворно, однако обратное вовсе не обязательно справедливо.

Ты никогда не видишь в ней ребенка, даже когда поступки ее совершенно недопустимы. Но когда наблюдаешь, как обеспокоенный родитель следит за своим чадом – за каждым его неуверенным шагом, боясь каждого «скользкого» момента и еще больше опасаясь, как бы ребенок не забрел куда-нибудь в дебри, – понимаешь, что пропустил эти тревоги через себя. Не говоря уже о резких перепадах детского настроения, когда счастливая восторженность и полное доверие сменяются слезами и ощущением заброшенности. Тоже знакомая картина. Вот только эта неукротимая, переменчивая погода души нынче захлестнула мозг и тело зрелой женщины.

Это тебя и доконало; в итоге ты вынужден был переехать. Недалеко, через несколько улиц, снял дешевое однокомнатное жилье. Как с благими намерениями, так и с низменными она настаивает, чтобы ты ее бросил, поскольку чувствует: чтобы удержать, тебя нужно слегка отпустить; и еще потому, что хочет задвинуть тебя подальше, дабы беспрепятственно напиваться. Но на самом деле твой переезд мало что изменил: все свое время ты проводишь рядом с ней. Она требует, чтобы ты не забирал никаких книг, ни единой безделушки, которую вы купили вместе, ни одной вещи из платяного шкафа; твое неповиновение вызывает истерику. Иногда ты украдкой пробираешься в дом за нужной книгой и переставляешь остальные книги на полке, чтобы скрыть хищение; иногда приносишь из благотворительного магазина «Оксфам» пару недорогих изданий в мягкой обложке, чтобы прикрыть вероломство.

Такой челночной жизнью ты и живешь. Все так же завтракаешь с ней вместе и даже ужинаешь, готовишь в основном сам; вы вместе совершаете вылазки в город; о ее возлияниях ты узнаешь от Эрика. Эрик – надежный свидетель, он, не в пример тебе, не влюблен, а просто заботлив и внимателен. Сюзен до сих пор тебя обстирывает и некоторые твои выходные рубашки прожигает утюгом – от избытка чувств. Пьяная глажка: не самый страшный, но все же неприятный житейский сюрприз.

* * *

Последний этап близится исподволь. Пускай ты все еще отчаянно жаждешь ее спасти, но где-то на уровне инстинкта, или гордости, или самозащиты ее пристрастие к алкоголю ранит тебя все сильнее: она отталкивает тебя, твою помощь, твою любовь. А поскольку не каждый способен выдержать такое отторжение, появляется озлобленность, которая потом перерастает в агрессию, и ты говоришь себе (не вслух, разумеется, потому что тебе несвойственна излишняя жестокость, особенно по отношению к ней): «Давай, уничтожай себя, ведь ты к этому стремишься?» И с ужасом осознаешь, что именно так и думаешь.

Но ты не понимаешь (пока еще, на фоне этих раздоров), что она, даже не слушая тебя, согласится. А потому ее ответ, хотя и не произнесенный вслух, таков: «Да, именно к этому я и стремлюсь. И уничтожу себя, ведь я никчемная личность. Так что хватит доставать меня своими благими намерениями. Просто не мешай».

* * *

Ты получил место в юридической консультации, расположенной в южной части Лондона. Радуешься количеству и разнообразию дел, которые приходится вести; доволен, что большинство из них решается положительно. Добиваясь заслуженной справедливости, ты можешь осчастливить других. Понятно, что это житейский парадокс. А вот еще один неотступный парадокс: чтобы заботиться о Сьюзен, ты должен работать, но чем больше работаешь, тем больше от нее отдаляешься и тем меньше у тебя возможностей окружать ее заботой.

Как и предрекала Сьюзен, ты нашел себе девушку. Она не из тех, кто сбежит после одного телефонного звонка. Анна – тоже юрист; в этом есть некая предопределенность. Ты немного рассказал ей о Сьюзен, не ограничиваясь клеймом «странная». При твоём посредничестве они знакомятся и вроде бы находят общий язык. Сьюзен не говорит ничего такого, что могло бы тебя скомпрометировать; Анна чрезвычайно практична. Она считает, что Сьюзен должна разнообразить свое питание, и раз в неделю приносит ей качественный хлеб, пакет помидоров и полкило французского масла. Если дверь не открывают, она оставляет продукты на ступеньках.

У тебя в квартире надывается телефон. Звонит один из квартирантов:
– Приезжайте. К нам полиция нагрянула. С оружием.

Ты передаешь эти слова Анне и бросаешься к машине. На Генри-роуд возле дома стоит «скорая помощь» с синей мигалкой и распахнутыми дверцами. Припарковавшись, выходишь на тротуар, а вот и она – выезжает в кресле-каталке; на голове – широкая повязка, из-под которой выбиваются волосы, как у Неряхи Петера.^[12] На лице застыло выражение, типичное для минут кризиса: несколько изумленное, но безмятежное. Будто восседая на троне, она разглядывает улицу и замечает твое приближение, а санитары тем временем ставят кресло на стопор. Синий огонек вращается между спокойными оранжевыми маячками пешеходного перехода. Реалистично и в то же время неправдоподобно, как в кино – просто фантазмагория.

Кресло медленно загружают в машину, и, когда двери почти закрываются, Сьюзен поднимает руку, как папа римский, дающий благословение. Ты спрашиваешь санитаров, куда ее везут, и едешь за ними. Когда добираешься до больницы скорой помощи, там уже выясняют предварительные сведения.

– Я – ближайший родственник, – говоришь ты.

– Сын? – спрашивают тебя.

Ты уже готов подтвердить, но из-за разных фамилий могут возникнуть лишние вопросы. Так что ты – опять ее племянник.

– Никакой он не племянник, – бросает она. – Мне есть что рассказать про этого молодого человека.

Ты смотришь на врача, слегка хмурясь и подавая ему знак кивком. Вы понимаете друг друга: у Сьюзен временное помутнение рассудка.

– Спросите его про теннисный клуб, – говорит она.

– Непременно, миссис Маклауд. Но для начала...

И расспросы продолжают. Здесь ее собираются оставить на ночь и, если потребуется, взять анализы. Возможно, у нее просто шок. Перед выпиской тебе позвонят. Санитары сказали, что у нее на лбу всего лишь ссадина, однако кровотечение довольно сильное. Не исключено, что придется наложить пару швов, а может, и обойдется.

На следующий день ее отпускают, но она по-прежнему не в себе.

– Давно бы так, – говорит она, когда ты ведешь ее к автостоянке. – Интересные творятся дела.

Такое настроение тебе хорошо знакомо. Она что-то заметила, почувствовала, обнаружила какую-то мелочь, ни пришей ни пристегни, но проявила к ней чрезмерный, всепоглощающий интерес и срочно должна рассказать.

– Делиться впечатлениями будем дома.

Ты переходишь на язык врачей, которые говорят пациенту «мы».

– Ну ладно, мистер Зануда.

На Генри-роуд ты отводишь ее в кухню, усаживаешь, завариваешь ей чай, кладешь вдвое больше сахара, чем обычно, и достаешь печенье.

Она словно не видит.

– Так вот, – начинает она, – это безумно интересно. Видишь ли, прошлой ночью эти двое ворвались в дом с оружием.

– С оружием?

– Вот именно. С оружием. Не перебивай, я только начала. Итак, да, двое мужчин с оружием. Обшарили все комнаты, что-то искали. Известно что.

– Это были грабители?

Ты чувствуешь, что можно задавать вопросы, которые не ставят под сомнение правдивость ее фантазий.

– Да, так мне подумалось. Вот я и сказала: «Золотой слиток – под кроватью».

– А ты не поспешила?

– Нет, я хотела их сбить с толку. Откуда мне было знать, что им нужно. Оба вели себя довольно вежливо, интеллигентно. Для вооруженных людей. Обещали, что меня не тронут, если я не буду им мешать.

– Но в тебя стреляли? – Ты указываешь на ее лоб, где теперь красуется большая марлевая нашивка.

– Бог с тобой, нет, такие приличные люди. Но вечер был испорчен, и я посчитала нужным вызвать полицию.

– А грабители не пытались тебя остановить?

– Нет-нет, они были не против. Решили, что полиция поможет им найти то, что они ищут.

– А они так и не объяснили, что ищут?

Она пропускает это мимо ушей и продолжает:

– Но я тебе вот что хотела сказать: они с ног до головы были в перьях.

– Подумать только!

– Перья торчали у них даже из задниц, и в волосах тоже были перья – везде.

– А какое у них было оружие?

– Да откуда мне знать? – говорит она уклончиво. – Но потом пришли полицейские, я им открыла, и они навели тут порядок.

– И перестрелка была?

– Перестрелка? Не смей меня. Британские полицейские такие

профессионалы, что это лишнее.

– Но они же арестовали тех злодеев?

– Естественно. По-твоему, зачем я вызывала полицию?

– Тогда откуда у тебя эта ссадина?

– Ну, не помню. Да разве это важно?

– Хорошо, что в итоге все уладилось.

– Знаешь, Пол, – говорит она, – иногда ты меня разочаровываешь. Это было такое забавное и увлекательное происшествие, а ты продолжаешь сыпать банальностями. Конечно, все в итоге уладилось. Так всегда бывает, разве нет?

Ты не отвечаешь. У тебя как-никак есть гордость. И, на твой взгляд, утверждение о том, что все можно уладить, как и противоположное утверждение о том, что уладить ничего нельзя, одинаково банальны.

– Ну, не дуйся. Это был самый интересный день в моей жизни. И все, все были чрезвычайно ко мне добры.

Вооруженные люди. Полицейские. Санитары. Врачи. Русские. Ватикан. Стало быть, все в мире идет своим чередом.

* * *

В тот же вечер, принеся домой купленную по дороге пиццу, я поведал эту мрачную историю Анне. Рассказывал увлеченно, любовно, даже радостно, хотя и не на сто процентов. Воображаемые грабители, настоящие полицейские, слиток золота, перья, санитары, больница. Нелицеприятные замечания Сьюзен в мой адрес я пропустил. И тем не менее видел, что Анна реагирует не так, как я ожидал.

Помолчав, она сказала:

– Значит, бюджетные средства пошли коту под хвост.

– Странный взгляд на вещи.

– Неужели? Полиция, отряд особого назначения, скорая помощь, больница. Все сбиваются с ног и суетятся вокруг нее одной – только потому, что у нее белая горячка. И ты с ними заодно.

– Я? А чего от меня ждать, если мне звонит квартирант и сообщает, что в доме вооруженные полицейские?

– Я и не ждала ничего другого.

– Ну, тогда...

– Я бы не ждала другой реакции даже в том случае, если бы мы с тобой заказали столик в ресторане, купили билеты в кино или спешили на

самолет, чтобы уехать на выходные.

Над этим стоило подумать.

– Да, вряд ли моя реакция была бы иной.

Я понял, что мы заходим в тупик. Одна из причин, почему я выбрал Анну, была ее прямота. В которой есть и положительные, и отрицательные стороны. Думаю, таковы все без исключения черты характера.

– Слушай, – сказал я. – Мы же с тобой говорили насчет... этих дел, когда начали встречаться.

Почему-то в тот миг я не смог произнести имя Сьюзен.

– Говорил ты. Я слушала. Это не значит, что я во всем с тобой согласна.

– Выходит, ты ввела меня в заблуждение.

– Нет, Пол, это ты умолчал об истинных масштабах проблемы. Возможно, в будущем, если у меня появится ежедневник, чтобы вносить туда назначенный ужин, или поход в театр, или отъезд на выходные, я буду добавлять приписку: «В зависимости от количества выпитого Сьюзен Маклауд».

– Ты несправедлива.

– Возможно, но это правда.

Мы замолчали. Вопрос был в том, хотим ли мы зайти в этом разговоре еще дальше. Анна хотела.

– И раз уж мы об этом заговорили, Пол, добавлю, что для меня Сьюзен Маклауд... не то чтобы идеал женщины.

– Понимаю.

– Но я постараюсь всегда относиться к ней по-доброму – ради тебя.

– Знаешь, это очень великодушно с твоей стороны. И раз уж об этом зашла речь: когда-то я ей пообещал, что в моей жизни для нее всегда найдется место, хотя бы на чердаке.

– Но мне для жизни чердак необязателен, Пол. – Наконец она высказала это вслух. – Особенно если там обретается какая-то сумасшедшая.

Я позволил этой последней реплике заполнить повисшую между нами тишину. В конце концов я с чопорным – уверен – видом сказал:

– Напрасно ты считаешь ее сумасшедшей.

Она не стала отказываться от своих слов. Я понял, что единственный во всем мире понимаю Сьюзен. И даже если я переехал, мыслимо ли бросить ее одну?

Мы с Анной встречались еще недели две, скрывая друг от друга свои мысли. Но я не удивился, когда она решила со мной порвать. И в тот

момент я ее не винил.

* * *

Стало быть, в итоге ты изведаль мягкую любовь и жесткую любовь, чувства и разум, правду и ложь, обещания и угрозы, надежду и стоицизм. Но ты же не автомат, чтобы с легкостью переключаться с одного на другое. Каждая стратегия требует от тебя такого же эмоционального напряжения, как и от нее, а то и большего. Иногда, в легком подпитии, она впадает в легкомысленное, труднопереносимое настроение, отрицает и реальность, и твою заботу, и ты уже начинаешь думать: в долгосрочной перспективе она, конечно, разрушает саму себя, а в краткосрочной – еще больше вреда наносит тебе. Тебя захлестывает беспомощная, отчаянная злость и, что хуже всего, праведный гнев. Собственная праведность тебе ненавистна.

Вспоминается резервный фонд на случай побега, который ты получил от нее в студенческую пору. Тебе никогда не приходило в голову запустить туда руку. Теперь ты выгребашь все – наличными. Отправляешься в маленькую безымянную гостиницу в конце Эджвер-роуд, неподалеку от Мраморной арки. Район не фешенебельный и не из дорогих. По соседству – небольшой ливанский ресторанчик. За пять дней, проведенных в этой гостинице, ты ни разу не прикасаешься к спиртному. Тебе требуется ясность ума; не хочется ни раздувать, ни искажать свою злость и жалость к себе. Пусть эмоции остаются такими, как есть.

Прихватываешь из телефонной будки стопку визиток с контактами девушек. Они скреплены клеевой массой, и, перед тем как разложить их на гостиничной тумбочке, ты методично скатываешь мягкие шарики, чтобы выбросить их в мусорную корзину. И только потом раскладываешь пасьянс из этих карточек и прикидываешь, которую из гламурных телок, работающих по вызову в гостиницах, тебе хотелось бы трахнуть. Делаешь первый звонок.

Является женщина, которая не имеет, естественно, ничего общего с изображением на визитке. Но тебе все равно, ты не возражаешь. На шкале разочарований это даже не фиксируется. Место и совершение сделки – полная противоположность тому, что ты рисовал в своих фантазиях на темы любви и секса. Хотя обмана нет. Умело, приятно, без эмоций – великолепно.

На стене висит дешевая репродукция ваноговского поля с коровами. Она радует глаз: умело, второсортно, суррогатно – одно удовольствие. Тебе

уже хочется поднять голос в защиту второсортности. Вероятно, она более основательна, чем первый сорт. К примеру, оказавшись перед подлинником Ван Гога, ты бы стал нервничать, ерзать от завышенных ожиданий: а правильно ли ты воспринимаешь сей шедевр? А тут никому – и в первую очередь тебе – нет дела, как ты реагируешь на дешевую гостиничную картинку. Видимо, так должно быть и в жизни. Помнишь, в студенческие годы кто-то сказал: если снизить планку, не будешь знать разочарований. Сейчас уже начинаешь сомневаться, так ли это.

Когда возвращается желание, заказываешь себе другую проститутку. Вечером устраиваешь ливанский ужин. Смотришь телевизор. Валяешься на кровати, принципиально выбросив из головы Сьюзен и все, что с ней связано. И плевать, что о тебе подумают, если станет известно, где ты находишься и чем себя развлекаешь. С упорством, достойным лучшего применения, и безо всякого удовольствия проматываешь свой резервный фонд, пока в нем не остается сумма, равная стоимости автобусного билета до Пятнадцатого юго-восточного района. Ты себя не упрекаешь и не мучаешься угрызениями совести – ни тогда, ни позже. И держишь тот эпизод при себе. Но начинаешь задумываться: а может, не так уж и плохо снизить притязания.

Часть третья

Иногда он задавался одним житейским вопросом. Какие воспоминания правдивее: счастливые или печальные? И со временем пришел к выводу, что ответа на такой вопрос не существует.

* * *

Не один десяток лет он вел блокнот. Туда заносились суждения о любви, почерпнутые у самых разных людей. У великих писателей, телемудрецов, гуру саморазвития, случайных попутчиков, встреченных за долгие годы разъездов. У него копились их свидетельства. А потом, раз в два года или около того, просматривая свои записи, он вычеркивал те изречения, которые более не считал справедливыми. Обычно в результате такой чистки оставалось лишь две-три временные истины. Временные потому, что при следующей чистке им, скорее всего, тоже грозило изъятие, а на смену приходила пара-тройка других, актуальных на текущий день.

* * *

Как-то раз он ехал поездом в Бристоль. Сидевшая через проход женщина раскрыла перед собой номер «Дейли мейл». В глаза бросался хлесткий заголовок над крупным снимком: «ДИРЕКТРИСА 49 ЛЕТ ПОСЛЕ 8 БОКАЛОВ ВИНА ВЫСЫПАЛА СЕБЕ ЗА ВОРОТ ЧИПСЫ И ПРЕДЛОЖИЛА УЧЕНИКУ ИХ ДОСТАТЬ». И зачем после такого заголовка читать дальше? С какой вероятностью читатель извлечет для себя мораль, отличную от той, которую ему так рьяно навязывают? С нулевой; а полвека назад такая газета столь же назидательно и рьяно заклеила бы случай, который в свое время не попал даже в местную «Эдвертайзер энд газетт». На обдумывание заголовка для этого несостоявшегося материала о нем самом ушло десять минут. Получилось так: «РАЗОМНЕМСЯ? СКАНДАЛ В ТЕННИСНОМ КЛУБЕ. 48-ЛЕТНЯЯ ДОМОХОЗЯЙКА И ПАТЛАТЫЙ СТУДЕНТ 19 ЛЕТ ИСКЛЮЧЕНЫ ЗА ИНТРИЖКУ». А дальше сам собой напрашивался текст: «На прошлой неделе кружевные занавески и лавровые изгороди зеленеющего Суррея ударной волной

всколыхнулись от гневных обвинений в адрес...»

* * *

Чтобы встретить старость, некоторые перебираются к морю. Они наблюдают, как приливы и отливы оставляют на берегу бурлящую морскую пену и как вздымаются далекие валы; до слуха, наверное, доносятся океанские волны времени, и эта прозрачная безграничность примиряет человека с ограниченностью жизни и неминуемой смертью. Что до него, то он, вообще говоря, предпочитал иные потоки, каждый со своими движениями и своими предназначениями. Но никаких примет вечности он в них не различал: ему виделись только молочные реки, что превращаются в сыр. Излишняя серьезность вызывала у него подозрение, а неопределенность желаний – настороженность. Милее всего были ему размеренные шаги повседневности. Вместе с тем он признавал, что его мир и его жизнь мало-помалу сузились. Но не возражал.

* * *

Например, ему думалось, что секс, по всей видимости, уже не для него. По всей видимости. Вероятно. Пожалуй. Но в итоге все-таки нет. Для секса нужны двое. Два лица: первое лицо и второе лицо: ты и я, я и ты. Но теперь неукротимость первого лица в нем угасла. Он как будто наблюдал и проживал свою жизнь в третьем лице. За счет чего оценивал ее, как сам считал, более трезво.

* * *

Так вот, извечные вопросы о свойствах памяти. Он признавал, что память ненадежна и страдает перекосами. Но в какую сторону? В сторону оптимизма? На первый взгляд это логично. Мы вспоминаем прошлое в радужных тонах, тем самым подтверждая правильность своего пути. Необязательно расценивать прожитую жизнь как триумф – уж его-то жизнь точно не попадала в эту категорию, – но полезно внушать себе, что она была интересной, приятной, целенаправленной. Целенаправленной? Это, пожалуй, перебор. Тем не менее оптимистическая память может облегчить

расставание с жизнью, смягчить боль вырождения.

Но с таким же успехом можно утверждать и обратное. Если память склонна к пессимизму, если задним числом все видится в холодном, черном цвете, то и расстаться с такой жизнью проще. Если ты, как милая старушка Джоан, которой нет в живых уже тридцать с лишним лет, за свою жизнь успел побывать в аду и вернуться, то стоит ли страшиться настоящего ада или, точнее, вечного небытия? Откуда-то приплыли слова, которые сохранила камера, встроенная в шлем британского солдата в Афганистане, – слова другого солдата, которыми тот сопровождал расстрел раненого пленного. «Ну хватит. Свергни ярмо житейской суеты,^[13] жопа», – и прогремел выстрел. Надо же, пронеслось тогда у него в голове, сегодня на войне цитируют Шекспира, пусть даже не дословно. Почему это вспомнилось? Может, по ассоциации со сквернословием Джоан. И он счел, что плюсы отношения к жизни как к ярму суеты можно сбросить со счетов. А мужчины – просто жопы, именно мужчины, не женщины. К тому же у пессимистической памяти есть эволюционное преимущество. В очереди за пропитанием ты был бы не против поставить на свое место других; в угоду общественному долгу ты мог бы удалиться в пустыню или быть распятым на склоне горы во имя высшей цели.

* * *

Но одно дело – теория, а другое – практика. Как он понимал, завершающим делом на его жизненном пути стало накопление правильных воспоминаний *о ней*. Для него «правильные» не означало «точные, фиксируемые день за днем, год за годом, от начала через середину и к самому концу». Конец был тяжким, а середина почти заслонила собой начало. Нет, он имел в виду другое: его последний долг перед ними обоими заключался в том, чтобы воссоздать и удержать ее в памяти такой, какой она была в момент их первой близости. Прокрутить воспоминания о ней назад до того этапа, когда в ней еще жила невинность: невинность души. Пока эта невинность не оказалась оскверненной. Да, именно так: пока ее не испещрили разнузданные граффити пьянства. Пока не стерлись черты лица, пока он сам не утратил способность ее видеть. Видеть, вспоминать, какой она была до того, как он ее потерял, упустил из виду, до того, как она растворилась на ситцевых диванных подушках – «Смотри, Кейси-Пол, я исчезаю!». Он потерял первое лицо – единственное любимое.

Остались фотографии; конечно, они помогали. Вот она улыбается ему,

прислонившись к стволу дерева в давно забытом лесу. Стоит, открытая ветру, на широком безлюдном пляже, а у нее за спиной шеренга пляжных домиков с заколоченными на зиму окнами. Сохранился даже ее снимок в теннисном платье с зеленой отделкой. От фотографий была определенная польза, но почему-то они только подтверждали его воспоминания, вместо того чтобы их высвободить.

Всячески подхлестывая свой ум, он стремился поймать миг ее исчезновения. Вспомнить, пока не поздно, ее живость и смех, ехидство и любовь, ее дерзость и отчаянное стремление к счастью, хотя обстоятельства всегда были против нее, всегда против них обоих. Да, именно это ему и требовалось: Сьюзен счастливая, Сьюзен оптимистичная, вопреки неопределенности своего будущего. В этом был особый талант, удачный срез ее натуры. А он сам, как правило, просчитывал будущее и на основании своих прогнозов решал, какое мировоззрение ему сейчас выгоднее, оптимистическое или пессимистическое. Он подгонял жизнь под свой темперамент; она подгоняла свой темперамент под жизнь. Ее путь был, конечно, более рискованным, поскольку сулил больше радостей, но не оставлял страховочной сетки. И все же, думалось ему, их, по крайней мере, не сгубила пресловутая практичность.

А еще она принимала его таким, как есть. Нет, не так: она любила его таким, как есть. Она ему доверяла; ничуть в нем не сомневалась; надеялась, что он сумеет выстроить свою личность и свою жизнь. В каком-то смысле ему это удалось, хотя и не так, как оба они представляли.

Она говорила: «Давай затолкаем всех „сладких мальчиков“ в „остин“ и рванем к морю». Или к Чичестерскому собору, или к Стоунхенджу, или в букинистический магазин, или в лес, где растет тысячелетнее дерево. Или на какой-нибудь ужастик, хотя на таких сеансах она обмирала от страха. Или в парк аттракционов, где можно гонять по автодрому, объедаться сахарной ватой, безуспешно пытаться сбить кокосы и до потери сознания кружиться на воздушных каруселях. Он не помнил, проделывал ли все это вместе с ней, или, быть может, потом, или даже с другой компанией. Но эти воспоминания были ему необходимы, а к тому же они возвращали ее к нему, даже если в действительности она и не бывала в тех местах.

* * *

Страховочная сетка отсутствовала. В его воспоминаниях всегда возникал один и тот же образ. Она висит за окном, а он удерживает ее за

запастья, не в силах втянуть обратно, но и не позволяя ей упасть; две жизни замерли в мучительном ожидании. И что же? Ну, например, он организовал людей, и те разложили внизу стопки матрасов, смягчивших ее падение; или: он вызвал пожарных, чтобы они растянули брезентовый тент; или... Но они цепко держались друг за друга, как воздушные гимнасты: не только он удерживал ее, но и она – его. В конце концов он обессилел и ослабил захват. Хотя приземлилась она более или менее мягко, без тяжких увечий не обошлось, потому что, по ее словам, у нее была тяжелая кость.

* * *

Конечно, у него в блокноте имелась и такая фраза: «...лучше потерять, любя, / чем в жизни не любить вообще».^[14] В течение нескольких лет она себя оправдывала, но потом была вычеркнута. Затем он вписал ее повторно – и снова вымарал. Теперь у него оказалось две таких записи подряд: одна аккуратная, истинная, другая – вымаранная, ложная.

* * *

Жизнь Деревни, по его воспоминаниям, базировалась на несложной системе. Против каждого недуга – одно лекарство. От ангины – полоскание, от порезов – деттол, от головы – дисприн, от насморка – викс. Эта система не противоречит универсальной идее, существующей по сей день. Лекарство от секса – брак; от любви – тоже брак; лекарство от неверности – развод; от несчастья – работа; от глубокого несчастья – запой; лекарство от смерти – слабая вера в загробную жизнь.

В юности он выбирал для себя трудные пути. И жизнь показала, что из этого получается. Временами он чувствовал: от этих трудностей силы его уже на пределе.

* * *

Примерно через месяц после разрыва с Анной он отказался от съемной квартиры и вернулся на Генри-роуд. Впоследствии где-то, в каком-то романе встретилась ему такая сентенция: «Он влюбился, как покончил с собой». Не буквально, но в том смысле, что у него не оставалось выбора.

Жить со Сьюзен он не мог; вести собственную жизнь отдельно от нее тоже не мог, а потому вернулся к ней. Мужество или трусость? Или простая неизбежность?

Теперь, по крайней мере, он был знаком с упорядоченным беспорядком жизни, которому подчинился вновь. Его возвращение было встречено не с радостью, не с облегчением, а с благодушным отсутствием удивления. Потому что этого следовало ожидать. Потому что молодому парню простительны некоторые преступные выходки, но не поздравлять же его с возвращением в тот дом, откуда убежать не следовало. А значит, его возвращение было только делом времени. Такую несуразную реакцию он заметил, но не обиделся: на шкале причиненных обид это была сущая ерунда.

Итак: сколько же времени – четыре года, пять лет? – провели они под одной крышей, когда светлые деньки сменялись темными неделями, когда плохо подавляемая ярость нередко вырывалась наружу и усиливала отторжение друзей? Из-за всего этого он больше не ощущал своей уникальности, а виделся себе изгоем и неудачником. Все это время он даже близко не подходил к другим женщинам. Через год-другой Эрик, не выдержав такой атмосферы, съехал. Две комнаты на верхнем этаже были сданы медсестрам. Не полицейским же.

Но за эти годы он сделал одно удивительное открытие, которое упростило его будущую жизнь. На работе офис-менеджер объявила о своей беременности; фирма дала объявление о временной вакансии, но подходящей кандидатуры не нашлось, и тогда он предложил свои услуги. С новыми обязанностями он справлялся быстро и совмещал их с работой юрисконсульта. Но поймал себя на том, что получает куда больше спокойного удовлетворения, решая организационные вопросы, отвечая за переписку, счета и даже, как ни банально, за бесперебойную работу кофемашины и кулера. Отчасти это объяснялось тем, что он нередко приезжал в контору с Генри-роуд в таком состоянии, которое позволяло ему выступать лишь в качестве работника низкого звена. Но организационная деятельность сама по себе приносила ему неожиданное удовольствие. А коллеги с нескрываемой благодарностью признавали, что он облегчает им жизнь. Это составляло разительный контраст с Генри-роуд. Когда Сьюзен в последний раз благодарила его за избавление от житейских трудностей, из которых без него ей было бы не выкарабкаться?

Офис-менеджер, сославшись на волнующие и непредвиденные радости материнства, объявила, что не вернется на свою должность. Тогда он перешел на полный рабочий день; годы спустя накопленные

практические навыки стали для него средством ухода от действительности. Он управлял офисами юридических фирм, благотворительных и неправительственных организаций, а потому часто ездил в командировки и, когда требовалось, менял место жительства. Ему довелось поработать в Африке, в Северной и Южной Америке. Такое положение дел удовлетворяло некую часть его натуры, о которой он даже не подозревал. Ему помнилось, как в Деревне его в свое время неприятно поражала манера игры некоторых членов теннисного клуба. При вполне приличной подготовке их игра оставалась невыразительной, лишенной изобретательности, будто подчинялась каким-то допотопным инструкциям. Но то были другие времена и другие люди. Теперь он научился организовывать конторскую работу – где угодно, по первому требованию – не хуже старого прожженного завхоза. Своего удовлетворения он не выказывал. А с годами еще и узнал цену денег: какие вопросы решаются с их помощью, а какие нет.

И еще одно. Эта работа была ниже уровня его возможностей. Однако же нельзя сказать, что он не относился к ней всерьез: совсем наоборот. Но поскольку в профессиональном отношении он занизил планку, разочарование постигало его крайне редко.

* * *

На нем лежала обязанность проверять, в каком состоянии находится Сьюзен, и спасать. Но не только ради нее. Это был его долг перед самим собой. Проверять состояние дел... и спасать себя? От чего? От «грядущего краха собственной жизни»? Нет, так говорится только в глупых мелодрамах. Жизнь его не была загублена. Сердце – да, сердце зачерствело. Но он нашел способ выживания и продолжал идти этой дорогой, в результате чего и оказался в нынешней точке. И считал своим долгом оглядываться из этой точки на себя прежнего. Вот ведь странно: в молодости у нас нет никаких обязательств перед будущим, зато в старости появляются обязательства перед прошлым. Перед тем единственным, чего нельзя изменить.

* * *

Он вспоминал, как в школьные годы ему задавали читать

литературные произведения, в которых описывался Конфликт между Любовью и Долгом. В этих старых книжках, невинных, но страстных, любовь наталкивалась на долг по отношению к семье, церкви, королю, отечеству. Одни герои выигрывали битву, другие проигрывали, третьим выпадало и то и другое одновременно; далее обычно следовала трагическая развязка. Несомненно, в патриархальных, иерархических обществах такие конфликты вспыхивают по сей день и, как прежде, подсказывают сюжеты писателям. Но в Деревне? Родительская семья в церковь не ходила. Социальная иерархия намечалась лишь пунктирно, если не считать теннисного и гольф-клуба: правление каждого было наделено правом исключать. Да и патриархат не особо процветал – материнское присутствие не позволяло. Что же касается долга семейного, то тут он не чувствовал обязательства подпевать родителям. Вообще говоря, в наши дни бремя ответственности сместилось: теперь родителям полагается принимать любой «жизненный выбор» сына или дочери. Например, побег на греческий остров с парикмахером Педро или привод в дом школьницы на сносях.

Впрочем, освобождение от старых догм принесло с собой сложности особого рода. Чувство ответственности было загнано внутрь. Любовь как таковая превратилась в Долг. На тебя возлагался Долг любить, особенно если Любовь занимала одно из центральных мест в твоей системе ценностей. А Любовь несла с собой множество Обязательств. Поэтому Любовь, даже с виду легковесная, могла стать нешуточной тяжестью, и связанные с ней обязательства подчас вызывали к жизни не меньшие бедствия, чем в старые времена.

* * *

Понял он и кое-что еще. Раньше он воображал, что в современном мире время и место перестали играть существенную роль в историях о любви. Но задним числом до него дошло, что в его собственной истории любви они занимали куда более важное место, чем ему казалось. Он поддался извечному, стойкому, неистребимому заблуждению, будто влюбленные каким-то образом оказываются вне времени.

* * *

Что-то он сбился с темы. Речь же о нем и о Сьюзен. В былые годы ее

терзал стыд. Но и он, как стало ясно, не был свободен от стыда.

* * *

Цитата из его блокнота, выдержавшая несколько проверок: «В любви все есть правда и все есть ложь; это единственный предмет, о котором невозможно сказать ничего абсурдного».^[15] Изречение понравилось ему с первого взгляда. Потому что в его случае оно вело к более широкому тезису: любовь сама по себе не бывает нелепой, равно как и ее подданные. Невзирая на суровые правила поведения и проявления чувств, которые стремится навязать тебе общество, любовь всегда находит лазейку. Иногда на скотном дворе приходится видеть невероятные формы привязанности: гусыня влюбляется в осла, котенок без опаски играет между лапами сидящего на цепи мастифа. Вот и на скотном дворе человеческой жизни есть столь же невероятные влечения, которые вовсе не кажутся нелепыми ни одной из сторон.

* * *

Одним из стойких последствий его соприкосновения с семейством Маклауд стала неприязнь к злобным мужчинам. Нет, неприязнь – это неточно. Отвращение. Потому что злоба как проявление власти, мужского начала, злоба как прелюдия к физическому насилию была ему ненавистна. В злобе таилась мерзкая ложная добродетель: смотри, как я злюсь, смотри, как выплескиваются через край мои эмоции, смотри: я в самом деле живу (не то что эти холодные рыбы); смотри: я сейчас это докажу – схвачу тебя за волосы и впечатаю лицом в дверь. А теперь полюбуйся, до чего ты меня довела! И на это я тоже зол!

Ему казалось, что злоба – это не просто злоба, а кое-что еще. Вот любовь – она и есть любовь, хотя и вынуждает некоторых вести себя так, будто любви больше нет, а может, и не было. Но злоба, в особенности та, что маскируется под праведный гнев (похоже, злоба всегда маскируется), нередко служит выражением чего-то другого: скуки, презрения, заносчивости, провала, ненависти. А то и чего-нибудь вполне тривиального, такого, как досадливая зависимость от женской практичности.

При всем том у него, к собственному немалому удивлению, в конце концов пропала ненависть к Маклауду. Чего уж там, если тот давно покойник, – хотя ненавидеть покойника вполне возможно и даже разумно; а ведь на каком-то этапе он даже вообразил, что пронесет эту ненависть через всю свою жизнь. Но нет.

Хронология ставила его в тупик. Неясно, когда Маклауд вышел на пенсию, тем более что он продолжал жить в просторном доме, куда приходила кухарка, она же экономка, с которой он держался подчеркнуто, несовременно учтиво. Раз в неделю посещал гольф-клуб и бил по лежащему мячу, как по своему личному врагу. Оставался заядлым огородником и заядлым курильщиком, включал «ящик» и перед ним напивался так, что потом еле ковылял в сторону спальни. Вороватая миссис Дайер, приходя поутру, зачастую обнаруживала телевизор с пустым светящимся экраном.

И вот однажды зимним утром, высаживая капустную рассаду, Маклауд упал на твердую землю и лежал ничком час за часом, пока его не хватились; инсульт сделал свое дело. Полупарализованный и полностью утративший речь, он теперь зависел от ежедневных дежурств сиделки, ежемесячных приездов дочерей, нерегулярных визитов Сьюзен. Морис, его старинный приятель из «Рейнольдс ньюс», тоже время от времени заходил и, сознательно нарушая предписание врача, вынимал полбутылки виски, чтобы влить в Маклауда пару глотков, а тот, глядя на него, только моргал. К тому моменту как сиделка нашла его на полу мертвым, замотанным в простыни, Сьюзен уже давно оформила генеральную доверенность на Марту и Клару. Дом, вместе со множеством ненужных вещей, был куплен сомнительным пройдохой из местных, который, похоже, прикрывал застройщика.

Где-то на данном этапе и пропала у него ненависть к Маклауду. Он не простил старика (не признавал прощение противоположностью ненависти), но счел, что кипучая неприязнь и ночные вспышки гнева уже неуместны. С другой стороны, жалости к Маклауду он не испытывал, несмотря на выпавшие тому унижения и немощи. Все это виделось неизбежным; теперь он многое из происходящего воспринимал как неизбежность.

Кто же виноват? Кажется, это вопрос для посторонних: лишь те, кто знал о ситуации крайне мало, могли с уверенностью возлагать вину на одну из сторон. Он же, несмотря на дистанцию во времени, был слишком вовлечен в тему, чтобы обвинять. Вдобавок он оказался на том жизненном

отрезке, когда человек начинает рассуждать в сослагательном наклонении. Что, если бы произошло так, а не этак? Бесполезное, но увлекательное занятие (и возможно, оно-то и удерживало от ответа на вопрос о виновности). К примеру, что, если бы он, девятнадцатилетний, от нечего делать не пришел в теннисный клуб, когда, сам того не зная, жаждал любви? Что, если бы Сьюзен из религиозных или моральных соображений остудила его интерес, не научив ничему, кроме расчетливости и смекалки в смешанной парной игре? Что, если бы Маклауд продолжал испытывать влечение к жене? Ведь всего этого могло и не быть. Но, учитывая, что все сложилось именно так, при определении виновного необходимо углубиться в предысторию, которая сейчас, в двух случаях из трех, уже недоступна.

Те искрящие первые месяцы преобразовали его настоящее и определили будущее вплоть до сегодняшнего дня. Но что, если, к примеру, между ним и Сьюзен не возникло бы притяжения? Что, если бы хоть одна из их историй, выдуманных для прикрытия, оказалась правдой? Он побывал молодым человеком, который ее подвозил, когда ей потребовались новые очки. Он побывал кавалером одной или обеих ее дочерей. В некотором роде он побывал и протеже Гордона. Теперь, в состоянии шаг за шагом обретаемого спокойствия, он обнаружил, что может с легкостью представлять себе события иначе, нежели в действительности, мысленно изменяя факты и чувства.

Любопытство вело его непроторенной дорогой. Вот он, к примеру, начал помогать старику Маклауду в огороде. Наряду с игрой в теннис со Сьюзен занялся гольфом, брал уроки в клубе и часто играл с Гордоном – как тот просил себя именовать – у всех восемнадцати лунок, когда на фервеях еще сверкала роса. Его присутствие благодатно влияло на старика Маклауда: грубость была лишь маской, и молодой напарник помогал ему немного расслабиться перед первым ударом; он даже заставил Маклауда (полистав американское пособие по гольфу) относиться не только без ненависти, но даже с любовью к этому шершавому мячику. Он – Кейси-Пол, как теперь его называла не только Сьюзен, – обнаружил, что не прочь выпить: джина с Джоан, пива с Гордоном и редкий бокал хереса со Сьюзен; хотя все понимали, что надо знать меру – хорошенького понемножку. Кроме того (почему бы не прожить эту альтернативную жизнь если не до логического, то хотя бы до традиционного конца), что, если бы он посватался – как выразились бы их родители – к одной из дочерей Маклауда? Но тогда к которой: к Марте или Кларе? Очевидно, к Кларе – характером та вышла скорее в Сьюзен. Но это были только рассуждения на тему «что, если бы...», потому выбрал он Марту.

А в результате Маклауды и в самом деле зашли бы выпить хереса с его родителями – ситуация, которой они с Мартой ужасно боялись, но которая в итоге сложилась весьма прилично. Едва ли эти две пары составили бы гармоничную четверку, но заранее назначенная встреча с викарием церкви Святого Михаила помогла сгладить все острые углы. И коль скоро это рассуждение вышло из-под его контроля, он решил украсить день свадьбы самой что ни на есть прекраснейшей погодой и даже двойной радугой. Затем, по своему хотенью, он подарил себе сестру, которой у него никогда не было, а чтобы родители не скучали, сделал ее лесбиянкой. Да. И она привела на венчание своего ребенка. Это был единственный ребенок во всем западном мире, который не плакал во время бракосочетания. А почему нет?

Он потряс головой, словно желая избавиться от этого наваждения. Есть два взгляда на жизнь, или две крайности одной сущности, разделенные пропастью. Согласно первому, каждое действие человека неизбежно несет в себе отмену любого другого действия, которое могло бы совершиться вместо первого; следовательно, жизнь состоит из череды мелких и крупных актов выбора, проявлений свободной воли, и каждый человек – капитан колесного парохода, пыхтящего вдоль величественной Миссисипи своей жизни. Согласно второму взгляду, все происходящее неизбежно, во всем важна предыстория, а человеческая жизнь – не более чем сучок на бревне, которое несет величественная Миссисипи, тащит и глумится, швыряет и хлещет струями, и водоворотами, и опасностями, над которыми ничто не властно. Он рассудил, что не обязательно придерживаться того или иного взгляда. Жизнь – его собственная, разумеется, – может сперва находиться во власти неизбежности, а позже – под контролем его свободной воли. Но понял он еще и то, что мысленные преобразования собственного прошлого – не самое благодарное занятие.

По зрелом размышлении он решил, что самым неправдоподобным во всех его построениях было то, что Марта якобы могла рассматривать его в качестве потенциального мужа.

* * *

Испытывал ли он сожаление оттого, что, условно говоря, вернул Сьюзен обратно? Нет; тут скорее подошло бы слово «вина», а то и более суровое – «угрызения совести». Но в его действиях присутствовала неизбежность, а от этого его поступок приобретал совсем другую

нравственную окраску. Он обнаружил, что попросту не может двигаться дальше. Коль скоро он не мог ее спасти, ему оставалось спасать себя. Настолько все просто.

Нет, конечно, все было не так просто, а куда сложнее. Он бы мог идти по жизни дальше, обманывая и терзая себя. Он мог бы идти по жизни дальше, успокаивая и приободряя Сьюзен, даже когда ее разум и память описывали трехминутные петли: от свежего удивления его присутствию, хотя он два часа сидел рядом с ней все в том же кресле, через упреки в его мнимом отсутствии – к тревоге и панике, умиряемым тихой беседой и бережными воспоминаниями, с которыми она притворно соглашалась, хотя на самом деле давно их пропила. Да-да, он мог бы идти дальше, играя роль домашнего врачевателя эмоций и наблюдая за прогрессирующим распадом ее личности. Но для этого ему следовало бы стать мазохистом. А он к этому времени сделал главное, самое ужасающее открытие своей жизни, которое, очевидно, бросило тень на все его последующие романы: любовь, даже самая пылкая и чистая, при умелом насилии над ней сквашивается в мешанину из жалости и злости. Его собственная любовь вытеснялась месяц за месяцем, год за годом. И как ни поразительно, чувства, пришедшие ей на смену, были столь же неукротимы, как любовь, некогда жившая у него в сердце. Поэтому в его жизни и в сердце царил прежний сумбур, притом что Сьюзен не могла больше приносить ему успокоение. Вот тогда-то он ее и вернул родным.

Не вдаваясь в эмоциональные тонкости, написал под копирку письма Марте и Кларе. Просто объяснил, что ему придется уехать по делам на длительный срок – возможно, на несколько лет – и что по объективным причинам он не сможет взять с собой Сьюзен. Отъезд состоится через три месяца, и этого времени, надо думать, им будет достаточно для всех требуемых приготовлений. Если же когда-нибудь в будущем возникнет необходимость поместить ее в реабилитационный центр, он сделает все, что в его силах; но на данном этапе ничем посодействовать не может.

Почти все написанное было правдой.

* * *

Перед отъездом ему нужно было кое-кого посетить. Боялся он этого или ждал с нетерпением? Наверное, и то и другое. В пять часов он позвонил в дверь, и в этот раз его встретило не залиvistое тявканье, а короткий отдаленный лай. Когда Джоан открыла дверь, позади нее ковылял

добродушный престарелый золотистый ретривер. Взгляд Джоан оказался настолько туманным, что этой собаке впору было служить поводырем, подумалось ему.

Стояла зима; на Джоан был спортивный костюм с парой прожженных сигаретой дыр на груди и теплые домашние носки, в которых она ступала так же мягко, как и ее собака. В гостиной пахло древесным дымком вперемешку с сигаретным. Стулья были все те же, но старее; те, кто на них сидел, – все те же, но старше. Ретривер, отзывавшийся на кличку Сивилла, тяжело дышал от похода к дверям и обратно.

– Я утратила всякий интерес к пустолайкам, – сказала Джоан. – Не заводь собак, Пол. Они только и делают, что умирают, и вот ты уже раздумываешь, не взять ли напоследок еще одну. На посошок. Словом, полюбуйся – Сивилла и я. Либо я умру и разобью ей сердце, либо наоборот. Небогатый выбор, правда? Джин вот здесь, угощайся.

Он так и сделал, выбрав для себя наименее грязный бокал.

– Как поживаете, Джоан?

– Как видишь. Все так же, только еще более дряхлая, пьющая, одинокая. А ты как?

– Мне стукнуло тридцать. Уезжаю на пару лет за границу. По работе. Я вернул Сьюзен.

– Как покупку? Поздновато, тебе не кажется? Вернул ее в магазин и просишь компенсацию?

– Не совсем так. – Он понял, что объяснить одной пьющей женщине, почему он бросил другую, будет непросто.

– Ну а как тогда?

– Вот как. Я пытался ее спасти. Ничего не вышло. Пытался вытащить ее из пьянства. Ничего не вышло. Я не виню ее, несколько. Помню ваши слова: что я выкарабкаюсь, а она нет. Но я больше не могу. Такого не выдержать и десяти дней – что уж говорить о десяти годах. Сейчас заботу о ней возьмет на себя Марта. Клара отказалась, что меня удивило. Я сказал, что... если им нужно будет определить ее в дом хроников, я помогу. В будущем. Если хватит денег.

– Да у тебя все просчитано, как я погляжу.

– Это самозащита, Джоан. У меня не осталось сил.

– А девушка есть? – спросила она, закуривая очередную сигарету.

– Я не настолько бездушен.

– Ну, знаешь, новая женщина, как ни странно, могла бы прочистить тебе мозги. Помню свой давний опыт с писюном и писью.

– Жаль, это не вам помогло, Джоан.

– Твоя жалость, милый мой, припозднилась на полвека.
– Я серьезно.
– И как, по-твоему, Марта справится? Лучше, чем ты? Хуже? Так же?
– Понятия не имею. Более того, меня это не волнует. Если я буду волноваться, меня снова затянет с головой в этот омут.
– Что значит «снова затянет»? Ты покамест еще там.
– В смысле?
– Ты все еще там. И навсегда там останешься. Нет, не буквально. Но сердцем и душой. Что зашло так далеко, тому нет конца. Ты всегда будешь «ходячим раненым». Другого не дано. Либо ходячий раненый, либо ходячий мертвец. Разве я не права?

Он покосился на нее, но она обращалась не к нему. Она обращалась к Сивилле, похлопывая свою любимицу по мягкой холке. Он не знал, что ответить, не знал, верить этим словам или нет.

– Вы по-прежнему жульничаете в кроссвордах?
– Ах ты язва! Будто сам не знаешь.
Он улыбнулся. Джоан всегда ему нравилась.
– И захлопни за собой дверь. Не люблю вставать сто раз на дню.
О том, чтобы ее обнять, нечего было и думать; он просто кивнул, еще раз улыбнулся и направился к выходу.
– Пришли венок, когда пробьет час, – крикнула она ему вслед.
Венок для нее самой или для Сьюзен – он так и не понял. А может, для Сивиллы? Собакам полагаются венки? Этого он тоже не знал.

* * *

Он не признался – не смог признаться – Джоан в своем ужасающем открытии: что с помощью какого-то стихийного, почти химического процесса любовь способна превратиться в жалость и злость. Злость его была направлена не на Сьюзен, а на то, что ее погубило. Но тем не менее это была злость. А злость несет с собой отвращение. И теперь, вместе с жалостью и злостью, ему нужно было разобраться с отвращением к себе. И все это осталось на его совести.

* * *

Он успел поработать во многих странах. Ему перевалило за тридцать,

потом – за сорок, выглядел он, как сказала бы его мать, вполне презентабельно, был платежеспособен и ничем не напоминал безумца. Этого хватало, чтобы в любом месте находить партнершу для секса, круг общения и ежедневную дозу необходимого человеческого участия – пока не приходило время переключаться на новую работу в новой стране и вписываться в новый круг общения, находя подход к новым людям, из которых одни потом встречались на его пути, а другие – нет. Все это его устраивало, а точнее – с этим он, по собственным ощущениям, мог жить.

Кому-то его существование могло показаться эгоистичным, если не паразитическим. Но думал он не только о себе. Старался не давать напрасных надежд, не преувеличивать эмоциональную сторону сложившихся отношений. Не останавливался у витрин ювелирных магазинов, не умолкал с глуповатой улыбкой над фотографиями детишек, не говорил, что хочет связать свою жизнь с конкретной женщиной и даже с конкретной страной. Хотя он не сразу заметил в себе эту черту, его влекло к таким женщинам, о которых можно сказать: сильные, независимые и не слишком потасканные. К женщинам, которые, подобно ему самому, твердо стояли на ногах и могли оценить надежное, пусть и недолговечное присутствие другого человека. К женщинам, которые не слишком переживали, когда он снимался с места, и не причиняли ему страданий, если уходили сами.

С его точки зрения, такая психологическая установка, такая эмоциональная стратегия была честна, тактична и попросту необходима. Он не притворялся и не обещал больше, чем мог дать. Хотя, конечно, раскладывая все по полочкам, и понимал, откуда проистекают упреки в эгоизме. Помимо всего прочего, он никак не мог разобраться, что преобладает в этой круговерти стран и женщин: то ли мужество признать собственные недостатки, то ли малодушие, заставлявшее с ними мириться.

Кстати, его новая концепция жизни нет-нет да и давала сбой. Бывало, женщины делали ему подарки со смыслом, а это его отпугивало. Встречались и такие, которые говорили, что он «типичный англичанин», зажатый, холодный, да к тому же черствый и корыстный, хотя, как представлялось, его подход к отношениям был наименее корыстным из всех ему известных. Тем не менее женщины часто на него злились. В тех редких случаях, когда он пытался рассказать о своей жизни, изложить предысторию и объяснить, почему зачерствело его сердце, упреки порой становились еще более колкими, а сами женщины начинали смотреть на него как на инфицированного, который обязан безотлагательно предупреждать о своей болезни – где-нибудь между первым и вторым

свиданием.

Но такова природа отношений: похоже, в них всегда присутствует некий дисбаланс. Хорошо, если ты просто планируешь эмоциональную стратегию, но совсем другое дело – если перед тобой разверзается земная твердь и все твои защитные силы летят в пропасть, возникшую несколько секунд назад и еще не отмеченную на картах. Примерно так получилось у него с Марией, нежной и спокойной испанкой, которая вдруг начала угрожать самоубийством и требовать одного, другого, третьего. Но ведь он не вызывался стать отцом ее (или чьих бы то ни было) детей и не собирался принимать католичество, даже в угоду ее, как считалось, умирающей матери.

А после Марии – коль скоро недопонимание распределяется демократическим путем – возникла Кимберли из Нэшвилла, которая, как очень быстро выяснилось, отвечала всем его неписаным требованиям, начиная с того, что со смехом затащила его в постель уже на втором свидании, и заканчивая тем, что воплощала собой независимость и дух свободы, а потому он, даже забыв молча поздравить себя с такой удачей, втрескался, можно сказать, по уши. Поначалу она не хотела сближения и, по ее словам, оберегала свое личное пространство, не желая «осложнять отношения». От этого ему отчаянно захотелось, чтобы она переехала к нему прямо сейчас; он узнал, как заказывают и дарят цветы, о чем прежде не помышлял, и даже поймал себя на том, что заглядывается на витрины с бриллиантовыми кольцами и уже подумывает об идеальном гнездышке в духе старинного охотничьего домика (со всеми удобствами, естественно) на какой-нибудь тенистой аллее. Он сделал предложение, но она ответила: «Пол, так это не работает». Ему чуть не изменил рассудок, а она погладила его по руке и сказала ему те же слова, что он когда-то говорил Марии, и тогда он помимо своей воли обрушил на нее обвинения в эгоизме и корысти, заклеил черствой и «типичной американкой», неизвестно что имея в виду, поскольку до нее никогда не встречался с американками. По факсу он получил от нее сообщение о разрыве отношений и напился до бесчувствия, да так, что начал мыслить рационально, до слез посмеялся над этой историей, осознал всю тщету мирских дел и почувствовал тягу к монашескому образу жизни, при этом лелея фантазии о Кимберли в монашеском платье и о богомерзком совокуплении с нею, после чего забронировал два билета на утренний рейс в Мексику, но, конечно же, проспал, а продрав глаза, обнаружил послание на автоответчике, но не от Кимберли, а от авиакомпании, сообщавшей, что он пропустил свой рейс. Каким-то чудом он добрался до работы, где рассказал коллегам

юмористическую версию своих злоключений; сотрудники посмеялись, он посмеялся вместе с ними, и эта облегченная, искаженная версия событий вскоре заменила настоящую. Потом на протяжении многих лет он молча благодарил Кимберли, оказавшуюся умнее его – умнее эмоционально. Раньше ему казалось, что много уроков в плане эмоций он вынес из отношений со Сьюзен. Но, быть может, эти уроки относились только к его отношениям с ней одной.

* * *

Находясь дома между контрактами или приезжая в отпуск, он встречался со старыми друзьями, они вместе шли выпить или поужинать, и эти встречи напоминали кино в быстрой перемотке. Некоторые из его друзей оказались закоренелыми домоседами; именно они с большим теплом вспоминали былые времена. Кто-то вступил в брак уже вторично, взяв женщину с детьми. Один оказался геем: после стольких лет он вдруг стал заглядываться на затылки молодых парней. Но кое-кого время не изменило. Бернارد, даром что краснолицый и седобородый, однажды ткнул его локтем, когда мимо их столика в ресторане прошла девушка, и сказал: «Гляди, вот это зад!» В двадцать пять лет он говорил то же самое, но с нарочитым американским акцентом. Во всяком случае, это свидетельствовало, что мужчины иногда путают хамство с честностью. А есть и такие, кто путает чопорность с целомудрием.

По длительности знакомства их компания была неоднородной; из числа «сладких мальчиков» в его жизни присутствовал только Эрик. С этими ребятами приятно было пообщаться часок-другой, тем более что алкоголь стирал разделявшую их дистанцию. Но так сложилось – по крайней мере, у него, – что от этих встреч запоминались в основном фразы.

- По-прежнему в основном составе, Пол?
- Свободен, как ветер?
- Не нашел еще свою единственную? Или хотя бы какую-нибудь сеньориту Риту?
- И когда только остепенишься?
- Жаль, детишек не настрогал. Из тебя вышел бы хороший отец.
- Это успеется. Не отчаивайся, старина.
- Но помни: качество спермы с возрастом ухудшается.
- Неужели тебя не тянет осесть где-нибудь за городом, в домике с камином, в окружении внуков?

- Чтобы появились внуки, хорошо бы сперва детей завести.
- Ты просто не в курсе, какие чудеса творит современная медицина.

Его редкие вторжения в круг друзей вызывали у одних гордость за собственную жизнь, а у других – если не зависть, то чувство неловкости. Потом, когда ему перевалило за пятьдесят, он вернулся в Англию, обосновался в Сомерсете и вложил свои сбережения в производство.

- Почему ты выбрал сыр?
- До конца жизни кошмары будут сниться, старина.
- Может, тут замешана какая-нибудь пастушка?
- Гляди, вот это зад!
- Теперь хотя бы чаще будем встречаться.

Но пастушка была ни при чем, и, как ни странно, дружеские встречи не стали чаще. При желании всегда можно сделать вид, что Сомерсет находится не ближе, чем Вальпараисо или Теннесси. Видимо, он потому предпочитал хранить в памяти их дурачества, что это помогало держать приятелей на расстоянии, точно так же как он держал на расстоянии своих подруг. Впрочем, многие из знакомых и сами предпочитали держаться на расстоянии, достигнув того возраста, когда подступают болезни. Ему на электронную почту приходили сообщения насчет рака простаты, операций на позвоночнике и шума в сердце, который, видимо, тоже не сулил ничего хорошего. В больших количествах поглощались витамины и статины, а бессонные ночные часы скрашивала Всемирная служба Би-би-си. Вне сомнения, вскоре следовало ожидать уведомлений о похоронах.

* * *

Ему вспомнился старый приятель по юридическому факультету. Алан... как его там... По какой-то причине связь между ними прервалась. Алан семь лет проучился на ветеринара, но после выпуска решил переключиться на юриспруденцию.

Однажды он спросил Алана, почему тот столь круто изменил специальность. Неужели ни с того ни с сего разлюбил животных? Или побоялся длинного рабочего дня? Алан ответил: нет, прежняя специальность всегда казалась ему стоящей, важной – лечить больной скот, обеспечивать безопасные роды или безболезненную смерть, работать на воздухе, знакомиться с разными людьми. К этому он себя и готовил. А перечеркнуть такую перспективу заставило его не что иное, как безразличность. Он рассказал, что, раз за разом запуская руку по локоть в

коровий зад, ты невольно вдыхаешь отвратительные газы, испускаемые животным. И газы эти, проникнув в твой организм, неизбежно будут стремиться наружу.

От Алана он ничего больше не добился. Но тут же вообразил, как тот ложится в постель с девушкой и все у них ладится, но в какой-то момент происходит катастрофа: из Алана вырывается залп коровьих газов, отчего девушка выскакивает из постели и подхватывает свои вещички, чтобы навсегда исчезнуть с горизонта. Возможно, ничего такого и не произошло, но Алан не смог вынести мыслей о том, что такая оказия может случиться с ним в присутствии любимой.

Как сложилась судьба Алана? Он не имел представления. Но историю Алана запомнил. Когда ты пропустил через себя определенные события, они бурлят у тебя внутри. Коровьи газы так или иначе вырвутся наружу. И с этим придется жить, покуда они полностью не выветрятся. Действительно, многие девушки, не только Анна, спешно собирали вещички и пускались бежать. И не каждый раз ему удавалось мужественно выйти из положения.

* * *

В юности, преисполненный гордости и любви к Сьюзен, он, как и многие молодые люди, был склонен к соперничеству. У меня член больше твоего, у меня душа больше твоей. Молодые самцы хвалятся своими подружками. А он хвалился вызывающим характером своего романа. Еще, конечно же, он хвастался силой их взаимных чувств. Ведь именно это важно, потому что от силы чувств зависит уровень счастья, верно? Тогда это заявление ослепляло его своей очевидностью.

Многие полагали, что самые счастливые люди на свете – это бутанцы. В Бутане слабо развит голый материализм, там в чести семья, общество и религия. Но он-то жил в материалистическом мире Запада, где религия не играет большой роли, а чувство локтя и семьи развиты мало. Так что же это: преимущество или недостаток?

Впоследствии было установлено, что самые счастливые люди на Земле – датчане. Причем не в силу предполагаемого гедонизма, а из-за скромности притязаний. Не стремясь к звездам и Луне, они хотят всего лишь дойти до следующего фонарного столба и становятся еще счастливее, когда им это удается. Он снова вспомнил ту девушку, чью-то подругу, которая заявила, что снизила планку своих ожиданий, дабы свести к минимуму вероятность разочарования. Значит ли это, что она будет

счастлива? И неужели датчане ощущают себя именно так?

Что же касается соотношения силы чувств и уровня счастья, под грузом своего опыта он как-то засомневался. Ведь в принципе можно сказать, что чем больше ты ешь, тем лучше становится пищеварение, или чем быстрее ведешь машину, тем скорее будешь на месте. Не будешь, если врежешься в кирпичную стену. Он вспомнил, как они со Сьюзен однажды ехали в его машине и трос привода акселератора то ли заклинило, то ли неизвестно что. Машина действительно мчалась в гору как зверь, пока у него не хватило ума выжать сцепление. В тот раз он одновременно паниковал и мыслил ясно. Такой и была тогда его жизнь. Нынче он всегда мыслил ясно, однако иногда ощущал нехватку адреналина.

Существовал еще один фактор, не важно, бутанец ты, датчанин или англичанин. Если статистика счастья опирается на самостоятельное предоставление сведений, как мы можем быть уверены, что люди счастливы в такой мере, как заявляют? А вдруг они лгут? Нет, мы просто обязаны верить, что они говорят правду, или хотя бы верить, что система подсчета учитывает погрешность в случае, если человек соврет. Настоящий вопрос залегает глубже: допустим, свидетельства информантов, опрошенных антропологами и социологами, заслуживают доверия; можно ли тогда считать, что «быть счастливым» и «заявлять, что ты счастлив» – это одно и то же? Если да, то любое последующее объективное исследование, например активности головного мозга, становится излишним.

В таком случае вопрос отпадает. А значит, можно развивать эту тему дальше. К примеру, если человек говорит, что он когда-то был счастлив, и сам этому верит, значит ли это, что он счастлив сейчас? Может такое быть? Нет, такое суждение ошибочно. С другой стороны, эмоции – это не точная наука: константы здесь меняются, но, даже противореча друг другу, остаются верными.

Например, за свою жизнь он не раз замечал, что мужчины и женщины по-разному рассказывают об отношениях. После расставания женщина чаще говорит: «Все было в порядке, пока не произошло „икс“». Здесь «икс» – это смена обстоятельств или места, появление очередного ребенка или, чаще всего, постоянная (или разовая) неверность. Мужчина же чаще всего говорит: «К сожалению, мы были обречены с самого начала». Причиной может считаться личная несовместимость, или заключение брака под давлением, или тайны одного или обоих партнеров, которые всплыли на поверхность. И она будет говорить: «Мы были счастливы, пока не...»; а он скажет: «Мы никогда не были по-настоящему счастливы». Впервые

заметив такое расхождение, он пытался понять, какая из сторон говорит правду; но теперь, находясь на другом конце своего жизненного пути, признал, что обе говорят правду. «В любви все есть правда и все есть ложь; это единственный предмет, о котором невозможно сказать ничего абсурдного».

* * *

Став обладателем половины акций сыроварни «Фрогуорт-вэлли артизанал чиз», он виделся себе как менеджер-владелец. Совладелец-соменеджер. Его рабочее место включало стол с креслом и допотопный компьютерный терминал; был у него и собственный белый халат, но надевать его приходилось нечасто. В офисе заправляла секретарша Хиллари. Поначалу он воображал, как будет руководить секретаршей, но той руководство не требовалось. Предлагать свою помощь значило опускаться ниже своей должности, так что в основном ему оставалось просто наблюдать за происходящим и улыбаться. Хиллари, уезжая в отпуск, уступила ему свой стол.

Наибольшую пользу своей компании (штат которой состоял из пяти человек) он приносил торговлей на фермерских рынках. Постоянные продавцы были на вес золота, а у Барри, много лет простоявшего за прилавком, пошатнулось здоровье. Отчего же было не выручить компанию, когда возникла такая необходимость? Приехать в один из окрестных городков, установить прилавок, выложить сыры, расставить ценники с названиями, приготовить тарелки с кубиками сыров для дегустации, а также пластиковый стаканчик с зубочистками. Стоял он в шапке из твида и в кожаном фартуке, но, по собственным оценкам, вряд ли мог сойти за уроженца Сомерсета. За спиной у него красовался яркий пластиковый щит с фотографией счастливых козочек. Торговцы-соседи были настроены дружески; у него всегда можно было разменять десятифунтовую банкноту на две пятерки, а двадцатифунтовую – на две десятки. Он давал покупателям объяснения по поводу возраста сыров и особенностей их изготовления: вот этот обваливают в золе, этот – в зеленом луке, вот тот – в толченом перце-чили. Такая работа была ему в радость. Здесь он нашел тот стиль общения, к которому сейчас тяготел: жизнерадостный, отмеченный взаимовыручкой, не предполагающий сближения, что, впрочем, не исключало флирта с Бетти, хозяйкой палатки «Выпечка от Бетти». Все это помогало скоротать время. Ох, эта фраза... Ему вдруг вспомнились слова

Сьюзен из ее рассказа о Джоан: «Все мы ищем для себя безопасную гавань. А если не находим, то просто учимся коротать время». В ту пору это прозвучало как совет, подсказанный отчаянием, а теперь уже казалось нормальным, эмоционально целесообразным тезисом.

* * *

Хотя (или, точнее сказать, поскольку) он не ожидал, да и не желал какой-либо окончательной привязанности, его невольно влекло к разным публичным проявлениям одиночества. Он просматривал частные объявления, «доверительные» колонки, телепередачи для желающих познакомиться и те газетные рубрики, где описывалось, как двое встречаются за ужином, оценивают друг друга по десятибалльной шкале, выносят на всеобщий суд свои или чужие застольные промахи, а под конец отвечают (или не отвечают) на вопрос: дошло ли у них дело до поцелуев. Чаще всего сообщалось: «По-быстрому обнялись» или «Только в щечку». Парни самодовольно отвечали: «Джентльмен не болтает лишнего». В этом чувствовалась претензия на искушенность, но вместе с тем сквозило заметное низкопоклонство: как подсказывал его опыт, «джентльмены» ничем не отличались от других бахвалов-самцов. Тем не менее он со смешанным чувством теплоты и скепсиса отслеживал эти отважные, но осмотрительные сердечные экспедиции. Надеялся, что хоть кому-нибудь из этих незнакомцев повезет, хотя и не обольщался. «Джентльмен не болтает лишнего». Что ж, изредка это могло соответствовать истине.

* * *

Например, дядя Хамфри, вонявший спиртным и сигарами, зашел в спальню к Сьюзен и продемонстрировал «французский поцелуй», а потом каждый год требовал повторения. Можно не сомневаться: дядя Хамф «не болтал лишнего». Но от этого не становился «джентльменом» – как раз наоборот. Из-за похотливости дяди Хамфа Сьюзен утратила веру в жизнь после жизни. Как еще повлияли на нее дядюшкины выходки? С такого расстояния уже не определить. И он выкинул из головы этого давно умершего субъекта.

* * *

Куда приятнее было вспоминать Джоан. Жаль, что он не знал ее многообещающей теннисисткой и не ведал, как она покатила по наклонной плоскости, а потом дошла до положения содержанки. Мужчина, который ее содержал, а потом просто выгнал, тоже был «джентльменом»? Сьюзен не называла его имени, установить которое уже не представлялось возможным.

Мысли о Джоан вызвали у него улыбку. Он вспомнил ее «пустолаек» и старую собаку Сивиллу породы золотистый ретривер. Кто из них умер раньше, Джоан или Сивилла? Джоан наказала ему прислать венок. Но на чьи похороны – не уточнила. Каждый раз, когда у него возникало желание завести собаку, он вспоминал голос Джоан, предупреждающий о том, что собаки умирают, пока ты жив. Собаку он так и не завел. И не полюбил ни кроссворды, ни джин.

* * *

«Паренек, ты занят день-деньской» – этой песенкой она зачастую встречала его, когда он заходил к ней в гости, наездами бывая дома.

Но порой он слышал другое:

Хлоп-хлоп, вот и Чарли.

Хлоп-хлоп, здравствуй, Чарли.

Хлоп-хлоп, Чарли в гости к нам. [\[16\]](#)

Марта, к твоему вящему удивлению, никогда не возражает против твоих визитов и не просит денег. Она сама ухаживает за матерью, лишь изредка нанимая сиделку. Такое впечатление, что муж Марты неплохо преуспевает в... в своем бизнесе. Она ведь говорила тебе, в каком именно бизнесе он подвигается, а задавать повторные вопросы неловко.

От одного твоего посещения до другого память у Сьюзен сдает. Краткосрочная память ушла давно, а долгосрочная становится нечеткой, как выцветшая рукопись, откуда угасающий мозг иногда способен извлекать законченные, но бессвязные фразы. На поверхность часто всплывают песни и слоганы, услышанные много лет назад.

Санни Джим – чемпион,
Вот что ест на завтрак он.

Какой-то рекламный слоган сухих завтраков – откуда: из ее детства? Из детства ее детей? У тебя в родительском доме предпочитали хлопья «Витабикс».

Она давно не пьет; даже забыла, что когда-то пила. Кажется, она знает, что ты для нее много значишь (или значил), но не помнит, что когда-то любила тебя, а ты любил ее. Разум ее находится в удручающем состоянии, но настроение до странного стабильно. Вся паника и смятение давно из нее вышли. Ее не выбивает из колеи ни твое появление, ни твой уход. Она ведет себя порой насмешливо, осуждая других, всегда немного самодовольно, будто ты не почувствуешь последствий. Ты от этого мучаешься и стараешься не поддаваться искушению поверить, что ты сам это заслужил.

– Это грязный потаскун, – говорит она санитарке притворным шепотом. – Я могу такое о нем порассказать – у вас волосы дыбом встанут.

Санитарка смотрит на тебя, а ты пожимаешь плечами и улыбаешься, словно говоря: «Что поделать, грустно, правда?» – и осознаешь, что даже сейчас ты ее предаешь, даже в этой ее новой и последней крайности. Потому что она действительно может порассказать санитарке кое-что о тебе и у той действительно волосы встанут дыбом.

Ты помнишь, как она говорила, будто не боится смерти и только лишь хотела бы узнать, что будет после. Но теперь у нее почти не осталось прошлого, а о будущем нет ни единой идеи – в прямом смысле. От нее остался только призрак на потертом экране ее памяти, и тот воспринимается ею как подарок.

- Вы – отработанное поколение.
- Перед смертью придется съесть горсть земли.
- Хлоп-хлоп, вот и... Санни Джим.
- Прослывешь одним из самых изощренных преступников.
- Где тебя носило всю мою жизнь.

И тебе кажется, будто там, среди этих осколков и обрывков, осталось кое-что от нее самой.

Чего только мы не услышим о мире.
На днях три старушки застряли в сортире,
Каждая села на унитаз

И углубилась в «Рэйдио таймс».

Да, ты помнишь, как учил ее этому куплету. Значит, она все еще остается собой. Ты слышал, что такое бывает: глубоко религиозные люди выкрикивают непристойности, старушки, которые уже дышат на ладан, примыкают к нацистам и так далее. Но это мало утешает. Быть может, сделайся она совсем неузнаваемой, перестань быть собой, с ней было бы не так больно общаться.

Однажды – конечно же, в присутствии санитарки – она выдает футбольную кричалку, которой ее мог научить только ты:

Будь у меня крылья, как у воробья,
Будь у меня зад, как у вороны,
Над «Тоттенхэмом» покружил бы я,
Чтоб обгадить нападение и оборону.

Но санитарка, которая, разумеется, слышала от престарелых, слабоумных пациентов и кое-что похлеще, просто вздергивает бровь и спрашивает:

– Болеее за «Челси»?

После двадцати минут, проведенных в ее компании, вот что действительно утомляет и нагоняет тоску, да такую, что впору сорваться с места, убежать и завывать: она, не помня твоего имени, не задавая вопросов и не отвечая на твои, все же на каком-то уровне осознает твое присутствие и как-то реагирует. Ей невдомек, что ты за черт такой, чем занимаешься и как зовешься, но при этом ты у нее взвешен на нравственных весах и найден очень легким.^[17] От этого хочется выбежать в коридор и завывать; от этого осознаешь, что где-то на уровне подсознания, возможно, ты по-прежнему ее любишь. И от этого неприятного осознания еще сильнее хочется выть.

* * *

И пусть он себя мучил, но после некоторых воспоминаний у него часто возникал один вопрос. С его стороны решение поместить Сьюзен в дом хроников было актом самозащиты. В этом не было сомнений, как не было сомнений в правильности такого решения. Но все-таки: что им двигало –

мужество или трусость?

Коль скоро решить он так и не смог, ответом на вопрос было: и то и другое.

* * *

Но она оставила след в его жизни: и в положительном смысле, и в негативном. Сделала его более великодушным по отношению к другим, но вместе с тем и более закрытым, заставив с подозрением относиться ко многим фактам. Научила его ценить импульсивность, но и показала связанные с ней опасности. Поэтому он стал человеком осторожно великодушным и бережно импульсивным. Последние двадцать лет он служил наглядным примером того, как быть импульсивным и осторожным одновременно. И щедрость в отношении других тоже имела срок годности, как упаковка бекона.

Он не забыл, как они в тот день уходили от Джоан и что сказала ему Сьюзен. Как и многие молодые люди, особенно в пору первой любви, он смотрел на жизнь – и любовь – как на игру, где есть победители и проигравшие. Сам он, естественно, вышел победителем; Джоан, по его мнению, была проигравшей или, скорее, вообще не вступала в игру. Сьюзен его поправила. Она указала ему, что история любви у каждого своя. У каждого. Пусть она закончится крахом, угаснет, пусть даже не начнется вовсе и останется в воображении, но от этого она не станет менее реальной. И это – единственная история.

Тогда ее слова отрезвили его, а после ее рассказа о Джоан он вообще стал по-другому относиться к той женщине. Потом, годы спустя, когда жизнь его набрала обороты, когда начали преобладать осторожность и умеренность, он понял, что у него, как и у Джоан, была своя история любви и, возможно, другой уже не будет. Теперь он понимал, почему пары держатся за свои истории спустя много лет после того, как любовь угасла, зачастую каждый – за свою главу этой истории, держатся даже тогда, когда не могут больше выносить друг друга. В скверных отношениях таились обрывки воспоминаний о той прекрасной любви – где-то глубоко, куда ни один из них не хотел копать.

Он часто задумывался о чужих историях любви; иногда посторонние открывались ему сами, потому что он был уравновешен и располагал к себе. В основном делились женщины, но это неудивительно; мужчины – он служил наглядным тому примером – оказывались более скрытными и менее

словоохотливыми. И когда он понял, что с каждым пересказом истории об обманутых и забытых становятся все менее правдоподобными, что эти перепевы сродни байке о появлении нарумяненного и загримированного для съемок «Пате-ньюс» Уинстона Черчилля где-то в Эйлсбери, – хотя бы и так: они все равно не оставляли его равнодушным. Истории обделенных и одиноких трогали его больше, чем истории успеха.

* * *

С одной стороны, ему попадались люди, увязшие в своей борозде, все глубже зарывавшиеся в землю и по понятным причинам не склонные изливать душу. Другой крайностью были встречные, готовые поделиться своей историей, единственной историей своей жизни, либо пустившись в череду словоизлияний, либо выложив все за раз. И где это происходило? Он видел пляжный бар с дурацкими коктейлями, ощущал ночной бриз, прислушивался к гулким ритмам, доносившимся из дребезжащих динамиков. В этом мире он непринужденно созерцал людские судьбы. А если без ложного пафоса – смотрел, как молодежь, весело напиваясь, закичивается на сексе, романтике и на чем-то большем. Но при всей его снисходительности, а то и сентиментальности по отношению к молодым, одна сцена вызывала у него суеверное отторжение и желание держаться подальше, а именно тот миг, когда они пускали свою жизнь по ветру, считая это совершенно правильным, – например, когда улыбчивый официант приносил целую гору мангового шербета, на вершине которой поблескивало колечко с бриллиантом, и юноша с горящими глазами преклонял колена на песок... Чтобы не наткнуться на подобную сцену, он отправлялся спать пораньше.

И вот, когда он сидел у стойки бара, докуривая третью и, в теории, последнюю сигарету за вечер, на соседний стул взгромоздился отдыхающий в пляжных шортах и шлепанцах.

– Не против, если я здесь приземлюсь?

– Прошу. – Он подтолкнул к незнакомцу пачку сигарет и гостиничную книжечку спичек, украшенную пальмами. – Мы, курильщики, вымирающий вид, согласны?

Его собеседник, на вид лет сорока с небольшим, был слегка пьян, как и он сам; англичанин, приветливый, не наглый. Без наигранного панибратства, которое периодически встречаешь у тех, кто решил, будто у них есть с тобой нечто общее. Попыхивая сигаретами, они сидели молча, и,

вероятно, эта тишина, не нарушаемая бессмысленной болтовней, побудила мужчину повернуться к нему и объявить ровным, задумчивым тоном:

– Она твердила, что хочет, как птичка, просто чувствовать под собой мое плечо. Мне казалось: до чего поэтично. И вообще обалденно – что еще нужно мужчине? Меня никогда не тянуло к навязчивым. – Незнакомец умолк.

Он всегда был рад поддержать разговор.

– Но ничего не вышло?

– Две проблемы. – Собеседник сделал затяжку и выдохнул дым. – Во-первых, птички всегда улетают, верно? А во-вторых, прежде чем улететь, обязательно нагадят на плечо.

Мужчина затушил сигарету, кивнул и ушел по пляжу в сторону ласкового прилива.

* * *

Его не покидало причудливое, сентиментальное, неотступное желание испечь знаменитый торт-перевертыш по рецепту Сьюзен. За последние годы он неплохо научился печь и хотел разобраться, что же не получилось у Сьюзен в тот раз. Видимо, фруктов было с избытком, разрыхлителя маловато, много муки.

В жестяной форме смесь не обещала ничего особенного. Но, открыв дверцу духовки, он увидел, что бисквит поднялся до нужной высоты, фрукты равномерно распределились по всему объему, а в воздухе поплыл аромат... торта. Поставив его остывать, он выждал, а потом отрезал себе небольшой ломтик. На вкус оказалось приемлемо. Торт не вызвал у него никаких определенных воспоминаний – оно и к лучшему. Приятно было и то, что чужих ошибок он не повторял – только свои.

Отрезав еще кусок, он заподозрил что-то неладное в своих побудительных мотивах и выбросил остаток в мусорное ведро. Включил Уимблдонский турнир и смотрел игру за игрой: рослые теннисисты в бейсболках отбивали мячи. Дожевывая торт, он празднично размышлял, что будет, если вернуться в Деревню и навеститься в теннисный клуб. Оформить членство. Получить приглашение войти в игру, даже несмотря на почтенный возраст. Плохиш вернулся: Джон Макинрой^[18] деревенского пошиба. Нет, это очередная сентиментальность. Без сомнений, там не осталось никого, кто бы его помнил. Да и вообще наверняка там все перестроили. Нет, он никогда не вернется. Ему плевать, стоит ли еще дом

его родителей, или дом Маклаудов, или дом Джоан. С такого расстояния эти места не представляют никакой эмоциональной ценности. По крайней мере, он себя в этом убеждал.

К концу трансляции по всем каналам стали показывать преимущественно парные игры: мужские, женские и смешанные. Естественно, он больше всего интересовался смешанными. «Самое уязвимое место – середина, Кейси-Пол». Теперь уже нет: игроки стали в высшей степени подготовленными, стремительными, надежно играют с лета, а игровое пятно на струнах увеличилось до размеров головы ракетки. Еще одной переменной стало отсутствие рыцарского духа, что на таком уровне особенно бросалось в глаза. Насколько ему помнилось, в прежние времена игроки-мужчины очень жестко играли против соперников-мужчин, но игра против женщин заставляла их умерить силы и больше полагаться на изменение угла отскока или глубины; избирательно использовались срезки и укороченные удары. Это было даже нечто большее, чем просто рыцарский дух: какой интерес следить за игрой, когда мужчина подавляет женщину своей мощью.

Сам он не выходил на корт очень давно – пожалуй, не один десяток лет. Когда он жил в Штатах, временный знакомец приохотил его к гольфу. Вначале это выглядело как ирония судьбы; но было бы нелепо чураться игры только потому, что ею некогда увлекался Гордон Маклауд. Отрадно было ощущать идеальный контакт между клюшкой и мячом, смущаться шенка и ценить стратегические тонкости первого дальнего удара в грин. Тем не менее, когда он целился вдоль фервея, держа в голове советы тренера насчет замаха, включения ног и бедер и важности сопровождения мяча, ему порой слышался милый, смешливый шепот Сьюзен Маклауд, напоминавшей, что это неспортивно – бить по лежащему мячу.

* * *

Гордон Маклауд: тот, кого он некогда намеревался прикончить, хотя Джоан и указала, что последнее убийство в этих краях произошло в ту пору, когда местные жители еще ходили в боевой раскраске. Данный тип англичанина был ему особенно ненавистен. Заносчивый, косный, преувеличенно манерный. Был склонен к насилию, помыкал окружающими. Сейчас вспомнилось, как Маклауд, условно говоря, мешал его взрослению – не какими-то поступками, а просто своим существованием. «Сколько же сладких мальчиков ты собираешься

ублажать в эти выходные?» Сьюзен тогда не моргнув глазом ответила: «Думаю, в этот раз будут только Иэн с Эриком. Ну и, разумеется, Пол. Если, конечно, не присоединятся все остальные». Слова Гордона Маклауда жгли, как огонь: тогда он только посмеялся, как и Сьюзен, но ожоги на коже остались.

Был и еще один эпизод, когда слова эхом прокатились через всю его жизнь. Все тот же разъяренный, одетый в домашний халат приземистый человечек с невидимыми в полутьме глазами едва не спустил его с лестницы: ему чудом удалось в панике ухватиться за балясину.

«Чтоский? Чтоский, пернатый мой дружок?»

Он тогда залился краской, чувствуя, как горит кожа. Но ему подумалось, что этот тип просто безумен – только безумец исхитрился бы подслушать их со Сьюзен интимные разговоры. Не исключено, что он еще спрятал под кроватью жены магнитофон. При одной мысли об этом лицо опять вспыхнуло.

Потребовались годы, чтобы понять: это была не злонамеренность безумца, а совершенно непреднамеренный выпад, за которым тем не менее потянулись мощные, разрушительные отголоски. Гордон Маклауд, потревоженный шумом, исходившим от любовника его жены, в тот момент без всякой задней мысли перешел на тот особый интимный язык, который использовал на пару с женой. Использовал? Нет, более того – создал. И который Сьюзен привнесла в отношения с молодым любовником. Бездумно. Ты говоришь «родная», ты говоришь «любовь моя», ты говоришь «целуй меня едва-едва», ты говоришь «чтоский?», ты говоришь «пернатый мой дружок» потому, что эти слова в определенный момент лезут в голову сами собой. У Сьюзен тоже не было никакой задней мысли. А теперь он стал задаваться вопросом: какие из тех оборотов речи, на которые он в свое время повелся, были ее собственным изобретением? Наверное, только «Мы – отработанное поколение»: раздувавшийся от важности Гордон Маклауд вряд ли счел бы себя и своих ровесников отработанным материалом.

Ему вспомнилась социальная реклама той поры, когда правительство нехотя признало существование СПИДа. Рекламный плакат тиражировался, как подсказывала память, в двух вариантах: фото женщины в постели с шестеркой мужчин и фото мужчины в постели с шестеркой женщин – все теснились, как сельди в бочке. Сопроводительный текст гласил, что, ложась в постель с новым партнером, ты каждый раз ложишься в постель со всеми, кто был у него до тебя. Правительство вело речь о заболеваниях, передающихся половым путем. Но ведь то же самое относится к словам:

они также способны передаваться половым путем.

И действия, между прочим, тоже. Вот только действия, по странному и счастливому стечению обстоятельств, никогда не создавали сложностей. Но сейчас в голову лезло: ох, а ведь все, что ты делала рукой или ногой, локтем или языком, ты, должно быть, проделывала и с «иксом», и с «игреком». В свое время такие мысли и образы его не посещали, за что он был несказанно благодарен судьбе, поскольку с легкостью мог бы вообразить всех своих призрачных предшественников. Но после того как та издевка закрепилась в его сознании, он начал представлять (иногда доходило до абсурда), какая игра словами велась со времен Адама и Евы и кто первым завел себе второго возлюбленного.

Как-то раз он в легком и флиртованном тоне упомянул одной девушке о своем открытии как о чем-то естественном и неизбежном, а потому *интересном*. Через пару дней она, поддразнивая его в постели, обратилась к нему «пернатый мой дружок». «Нет! – вскричал он и откатился на свой край кровати. – Тебе никто не разрешал так меня называть!» Девушку поразила его неистовая вспышка. А он поразил сам себя. Но он защищал фразу, которая всегда принадлежала только им со Сьюзен. Правда, ранее фраза эта бытовала исключительно между молодым мужем Гордоном Маклаудом и его застенчивой женой, полной радужных надежд.

Так что в течение длительного времени (лет, наверное, двадцать, если не больше) он ловил себя на болезненной чувствительности к языку любви. Умом он понимал, что человеческий лексикон в принципе ограничен, и совершенно не важно, что некоторые слова идут в переработку, что каждую ночь миллиарды мужчин и женщин всего мира подтверждают уникальность своей любви поддержанными фразами. Но иногда по какой-то причине это становится важным. А значит, в данной сфере, как и в любой другой, бал правит предыстория.

* * *

Ему представлялось, что в Деревне на месте теннисных кортов появились кварталы домов-коробок улучшенной планировки, а может, более прибыльные скопления жилых домов небольшой этажности. Он недоумевал: почему никто, глядя на кварталы новостроек, не говорит: «Давайте все тут снесем и построим современный, всепогодный теннисный стадион». Можно пойти дальше и сказать: «Слушайте, а почему бы не устроить здесь старомодные травяные корты, чтобы играть в исконный

теннис?» Но такое почему-то никому не приходит в голову. Что ушло, того не воротишь, – теперь он это усвоил. Единожды нанесенный удар не отменишь. Единожды слетевшее с языка слово не залетит обратно. Мы можем сколько угодно делать вид, будто ничто не потеряно, не сотворено, не сказано; можем заявить, что все забыто, но наша потаенная сердцевина не забывает, потому что единожды совершенное меняет нас навек.

* * *

Вот вам парадокс. Когда он был со Сьюзен, они почти не говорили о любви, не обсуждали, не анализировали, не стремились понять ее форму, цвет, массу и границы. Любовь просто была с ними как непреложный факт, как незыблемая данность. Но существенно то, что ни у одного, ни у другого не было нужных слов, опыта, мыслительных навыков для ее обсуждений. Впоследствии, годам к тридцати-сорока, он достиг эмоциональной зрелости, а в возрасте за тридцать-сорок подошел к прозрачности эмоций. Но в его поздних связях чувства уже не были столь глубоки, а значит предметов для обсуждения становилось все меньше и потенциальное красноречие оказывалось невостребованным.

* * *

Несколько лет назад он прочел, что наиболее типичный психологический образ в сознании мужчин по отношению к женщинам – «фантазия о спасении». Вероятно, она пробуждает воспоминания о детских сказках, в которых доблестные рыцари спасали от злобных стражей запертых в башнях прекрасных дев. Или о классических мифах, в которых другие девы, как правило обнаженные, были прикованы к камням только лишь ради того, чтобы их освободили бесстрашные воины. Которые сначала находили себе подходящего морского гада или дракона, с которыми нужно сразиться в первую очередь. В наше не столь мифическое время большинство мужчин предавались подобным фантазиям с участием Мэрилин Монро. Он относится к этой социологической статистике с известной долей скептицизма. Интересно, что для ее спасения требовалось непременно с ней переспать. Хотя на самом деле, как ему казалось, самым действенным способом спасти Мэрилин Монро было бы *не* переспать с ней.

Вряд ли он в девятнадцать лет страдал от фантазии о спасении Сьюзен. Наоборот, он страдал от реальной необходимости спасения. В отличие от принцесс в замках и прикованных к камням дев, к коим устремлялись целые полчища готовых к подвигу рыцарей, и в отличие от Мэрилин Монро, которую мечтал освободить (для того лишь, чтобы заточить в собственной башне) любой западный мужчина, к Сьюзен Маклауд не выстраивалась очередь рыцарей, киноманов и «сладких мальчиков», оспаривавших право вырвать ее из пут домашней тирании. Он верил, что ему по силам ее спасти; более того, что лишь он и может ее спасти. И это была не фантазия: это была суровая практическая необходимость.

* * *

С расстояния прожитых лет он уже не мог вспомнить ее тело. Конечно же, он помнил ее лицо, глаза, губы, изящные уши, ее вид в теннисном платье – все это можно было освежить в памяти с помощью фотографий. Но чувственная память о ее теле ушла. Ему не удавалось вспомнить ее груди, их форму, их упругость или дряблость. Забылись ее ноги, их изгибы, и как она раздвигала их, и что она делала ими в постели. Он не мог вспомнить, как она раздевалась. Ему представлялось, будто она это делала, как все женщины на пляже – с чопорным мастерством, прикрывшись огромным полотенцем, – только вместо купальника он представлял ночную сорочку. Они всегда занимались любовью без света? Уже не вспомнить. Возможно, он слишком часто закрывал глаза.

У Сьюзен – вдруг вспомнилось – был пояс-корсет; причем определенно не один. К нему крепились... как же они называются?.. эластичные ремешки, которые пристегивались к чулкам. Просто резинки, точно. Сколько их было на каждой ноге? Две, три? Он знал только, что пристегивала она лишь переднюю. Эта интимная особенность всплыла в памяти именно сейчас. А какими были ее бюстгалтеры?.. В девятнадцать он не испытывал ни малейшего интереса к нижнему белью, как и Сьюзен не интересовали его майки и трусы. Он и сам-то не помнил, какие трусы носил в ту пору. Зато помнил, что носил майки в сеточку, которые непонятно почему считал эффектными.

В Сьюзен не было никакого кокетства, это бросалось в глаза. Никакой игривости и демонстрации тела. Как они целовались? Он и этого не мог вспомнить. Хотя позднее, с другими, бывали изумительные моменты,

которые чувственными стоп-кадрами хранились у него в голове. Возможно, с опытом секс делается более памятным. А может быть, чем глубже чувства, тем меньше обращаешь внимания на детали. Нет, не то и не другое. Просто ему хотелось найти какую-нибудь теорию, чтобы объяснить эту странность.

Ему вспомнилось, как она сообщила – будто между делом, – сколько раз они занимались любовью. Сто пятьдесят три раза, что ли. Тогда это повергло его в пучину размышлений. Может, он тоже должен был считать? Было ли это проблемой в их отношениях? И так далее. Теперь он думал: сто пятьдесят три, столько раз он приходил к этой точке. А она? Сколько раз он приводил ее к оргазму? Она вообще хоть раз испытала с ним оргазм? Безусловно, было удовольствие, была близость; но оргазм? В то время он не мог с уверенностью сказать, но и спросить не решался. По правде говоря, он тогда и не думал спрашивать. А сейчас уже было поздно.

Он пытался представить себе, почему она решила вести счет. Для начала это было вопросом гордости и внимательности; он был ее вторым любовником за всю жизнь, к тому же после длительной паузы. Но потом он припомнил мучительным шепотом заданный вопрос: «Ты же не бросишь меня, Кейси-Пол?» Так что счет, вероятно, был результатом тревоги и смятения: страх быть брошенной, страх, что у нее больше никогда никого не будет. Может, дело в этом? Он сдался. Перестал копаться в прошлом, перемалывая, как метко выразилась Джоан, «давний опыт с писюном и писью».

* * *

Однажды вечером он со стаканом в руке лениво смотрел по телевизору Гран-при Бразилии. Не особенно интересуясь бессмысленной демонстрацией богатства в рамках Формулы-1, он тем не менее любил смотреть, как рискуют молодые. В этом отношении гонка была что надо. Из-за ливня трасса сделалась опасной, глубокие лужи отправляли прямиком в барьеры даже бывших чемпионов; гонку дважды останавливали и неоднократно присылали машину безопасности. Все гонщики осторожничали, за исключением девятнадцатилетнего Макса Ферстаппена из команды «Ред булл».^[19] С одного из последних мест он вырвался на третье, совершая маневры, на которые не отваживались более зрелые и предположительно «лучшие». Комментаторы, пораженные такой сноровкой и храбростью, искали им объяснения. Один выдал: «Говорят,

тяга к риску не снижается вплоть до двадцати пяти лет».

После такого заявления он стал присматриваться еще внимательнее. Да, думалось ему: опасная трасса, видимость почти нулевая, все переживают, а ты – неуязвим, мчишь на полной скорости, благо у тебя еще не снизилась тяга к риску. Да, это прочно врезалось в память. Вот что значит быть девятнадцатилетним. Кто-то разобьется, кто-то нет. Ферстаппен не разбился. Во всяком случае, до той поры: у него в запасе было еще шесть лет, чтобы, с позиций нейропсихологии, стать полностью благоразумным.

* * *

Но если Ферстаппен демонстрировал скорее юношеское бесстрашие, а не истинную храбрость, применим ли тот же возрастной ценз к обратному: к трусости? Ему самому всяко было меньше двадцати пяти, когда он совершил трусливый поступок, преследовавший его потом всю жизнь. Они с Эриком гостили у Маклаудов и отправились в холмистый парк на ярмарку. Они спускались с вершины плечом к плечу, болтали и не заметили компанию парней, поднимавшихся им навстречу. Поравнявшись с ними, один толкнул Эрика плечом так, что тот развернулся; другой поставил ему подножку, а третий ударил ботинком. Пол увидел это словно обостренным периферическим зрением – еще перед тем, как Эрик упал, – за секунду? за две? – и тут же инстинктивно бросился бежать. Он твердил себе: «Найти полицейского, найти полицейского», но при этом знал, что смылся вовсе не для этого. А для того, чтобы самому не огрести от хулиганья. Рациональное мышление подсказывало, что на ярмарках полицию встретишь нечасто, и он мчался под гору в пустых, притворных поисках, даже не спросив ни у кого из встречаемых, куда кидаться за помощью. Потом он поднимался обратно в гору, и его мутило при мысли о том, что предстоит увидеть. Эрик, весь в крови, стоял на ногах, ощупывая ребра. О чем тогда зашла речь, принес ли он другу свои фальшивые извинения – теперь не вспомнить; они поехали к Маклаудам. Сьюзен перевязала Эрику раны, щедро смазав их деттолом, и настояла на том, чтобы он отлежался в доме, пока не утихнет боль от побоев и не затянутся порезы. Эрик так и поступил. Ни тогда, ни потом Эрик не бросил ему обвинений в трусости и ни разу не спросил, почему он удрал.

Если повезет, то при должной осторожности можно прожить жизнь, не подвергая испытаниям свою храбрость, а точнее – не обнаруживая свою

трусость. Когда Маклауд набросился на него тогда в «читальне», он, естественно, спасся бегством, ответив одним неуклюжим ударом на три маклаудовских. А выскочив через черный ход, опять же не пытался найти полицейского. По его прикидкам (достаточно точным), Маклауд был настолько пьян и зол, что не отстал бы от него, пока не избил. Молодой и вполне спортивный, он все же трезво оценивал свои шансы в рукопашной схватке. Да и то сказать: на него бросился не трусишка-задохлик младше двенадцати лет и весом менее сорока кило.

* * *

И опять аналогичная история, уже недавняя. «Недавняя» – значит «пятнадцати- или двадцатилетней давности»: именно так он теперь мысленно членит время. После его возвращения в Англию прошло всего ничего. Пару раз он навестил Сьюзен, но никому из них это посещение не принесло ни видимого удовольствия, ни пользы. Однажды вечером раздался телефонный звонок. Звонила Марта Маклауд, которая уже давно носила другую фамилию.

– Маму на время поместили в психиатрическую, – выпалила она.

– Как это неприятно.

– Сейчас она лежит в... – Марта назвала одну из местных больниц, где имелось психиатрическое отделение.

Он был наслышан об этом заведении. Как-то раз его приятель-доктор с профессиональной сухостью сказал: «Там может оказаться только тот, кто реально лишился рассудка».

– Понятно.

– Место жуткое, настоящий бедлам, пациенты горланят. А кто не горланит, тот напичкан успокоительным до состояния зомби.

– Ага. – Он не спросил, к которой из двух категорий относится Сьюзен.

– Вы сможете ее навестить? И посмотреть условия?

За четверть века, подумал он, Марта ни о чем его не попросила. На первых порах он чувствовал ее неодобрение, позднее – молчаливое высокомерие, но хорошее воспитание никогда ей не изменяло. Судя по всему, сейчас она дошла до крайности. Хорошо знакомый с таким состоянием, он давно усвоил, что «крайность» – понятие растяжимое. А потому взвесил эту просьбу.

– Вероятно, смогу. – Через пару дней ему так или иначе предстояло

ехать в город, но делиться этим с Мартой он не собирался.

– Я уверена: встреча с вами пойдет ей на пользу. Тем более в таком месте...

– Да-да.

На этом разговор закончился. Дав отбой, он подумал: она много лет была на моем попечении. Я делал все, что мог. Но не справился. Передал ее тебе. Так что теперь твой черед.

Однако собственная угрюмая логика его не убеждала. С таким же успехом можно было твердить: «Найти полицейского, найти полицейского». Правда заключалась в том, что ему было неволе: неволе видеть Сьюзен – вернее, то, что от нее осталось: нечто горластое или зомбированное среди горластых и зомбированных. Он убеждал себя, что это необходимая самозащита, а также защита того образа Сьюзен, который хранился у него в голове. Но от правды было никуда не деться. Его просто страшила предстоящая встреча.

* * *

С годами жизнь его вошла в удобную колею, где человеческого участия было ровно столько, чтобы поддерживать дух и вместе с тем не надоедать. Он знал, как покойно становится на душе, если отгородишься от эмоций. Его эмоциональная жизнь переоформилась в социальную. Он многим кивал и улыбался, пока в кожаном фартуке и твидовой кепке высился за прилавком на фоне счастливых козочек. Высоко ценил стоицизм и спокойствие, которые не проистекали из философских штудий, а просто мало-помалу выросли у него внутри, подобно кораллам, что в силу своей твердости способны почти в любую погоду противостоять натиску океанских волн. Но иногда не способны.

В общем и целом жизнь его складывалась преимущественно из наблюдений и воспоминаний. Не самая худшая смесь. У него вызывали неприязнь те мужчины, которые на седьмом и восьмом десятке продолжают вести себя как тридцатилетние, ныряя в круговорот молодых женщин, экзотических путешествий и экстремальных видов спорта. Разжиревшие олигархи, которые на собственных яхтах лапают волосатыми ручищами тощих моделей. Респектабельные мужья, которые в вихре житейских бурь, сдобренных виагрой, бросают своих жен, прожив не одно десятилетие в законном браке. В немецком для обозначения такой лихорадочности есть особое выражение – типичное для этого языка слово-

гармошка, которое переводится как «паника при закрытии дверей». Его самого закрытие дверей не волновало, хотя и приближать его не хотелось.

Окружающие, насколько он знал, говорили про него: «сам по себе». В такой характеристике не сквозило осуждения. Это житейское кредо по-прежнему оставалось в чести у англичан. И относилось оно не только к приватности, не только к тому, что дом англичанина – даже самый захудалый – это его крепость. Оно относилось к чему-то большему: к человеческому «я», и к месту его хранения, и к возможности (выпадающей очень немногим) как следует его разглядеть.

Он понимал, что никому не дано поддерживать свою жизнь в устойчивом равновесии, даже во время досужих размышлений. Понимал, что между самодовольством, с одной стороны, и сожалением – с другой всегда существует натяжение, порой даже колебание. Он пытался занять сторону сожаления, потому что такой вариант менее разрушителен.

Но о своей любви к Сьюзен не сожалел никогда. Сожалел он о другом: что был слишком зелен, слишком невежествен, эгоцентричен, самоуверен в отношении того, чем представлялась ему природа и производные любви. Не лучше ли (то есть не менее ли катастрофичны) были бы для него, для нее, для них обоих «французские» отношения? Когда более зрелая женщина учит молодого мужчину искусству любви, а затем, пряча утонченную слезу, выпускает его в мир – в мир более молодых, более подходящих невест? Возможно. Но ни он сам, ни Сьюзен не были столь умудренными. Умудренности в чувственной сфере он не знал вовсе: более того, само это выражение звучало для него логическим противоречием. Так что об умудренности он тоже не жалел.

Ему вспоминались собственные юношеские попытки дать определение любви, которые он предпринимал еще в Деревне, лежа в своей одинокой постели. Любовь, решил он, подобна всеохватному и внезапному распрямлению вечно сдвинутых бровей. Хм: любовь как окончание мигрени. Нет, хуже: любовь как ботокс. А вот еще одно его сравнение: любовь – это как внезапное наполнение легких души чистым кислородом. Любовь как полулегальное употребление наркотиков? Да понимал ли он сам, о чем идет речь? Между прочим, несколько лет спустя он оказался в знакомой компании, к которой присоединился взволнованный начинающий врач, только что «надыбавший» у себя в больнице колбу веселящего газа. Всем пациентам он раздал по воздушному шарiku, и каждый надул свой шар из этой колбы, крепко держа за кончик. Максимально опустошив легкие, человек прикладывал губы к шарiku, чтобы впустить в себя рев и взлет внезапного, стремительного, быстротечного кайфа. Впрочем, это

ничуть не напоминало любовь.

* * *

А что на сей счет говорилось у профессионалов? Он вынул из ящика стола свой блокнотик. Куда уже давно ничего нового не записывал. В какой-то момент, раздосадованный тем, как мало удастся найти хороших определений любви, он стал записывать, начиная с последней страницы, все плохие. Любовь – то, любовь – се, любовь означает это, любовь означает то. Даже довольно известные цитаты не шли дальше утверждений о том, что любовь – это мягкая игрушка, это щенок, это подушка-пердушка. Любовь – это когда не приходится просить прощения^[20] (напротив, зачастую она требует именно этого). Потом пошли всякие любовные строчки из любовных песен с обморочными заблуждениями автора текста, солиста, группы. Даже горьковатые и циничные – «верен тебе, дорогая, только на свой манер» – казались ему рассуждениями на сентиментальные темы. Да, мне не повезло, дружище, но тебе-то, наверное, повезет больше, с экивоками обещала песня. Так что можешь слушать с сочувственным благодушием.

Имелась одна цитата, и довольно серьезная, которую он не вымарывал годами. Уже не помнил, откуда она позаимствована. Он никогда не указывал ни автора, ни источник: не хотел попасть под давление авторитетов; правда должна стоять особняком, прозрачная, без подпорок. Запись гласила: «По-моему, всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, – настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь».^[21] Да, это стоило сохранить. Ему нравилась должная всеохватность выражения «счастливая, равно как и несчастная». Но суть содержалась в словах «когда ей отдаешься весь». Вопреки первому впечатлению, тут не было ни пессимизма, ни горьковатого привкуса. Это была одна из истин о любви, изреченная кем-то, уже полностью затянутым в ее омут, и, казалось, вобравшая в себя всю житейскую печаль. Ему снова вспомнилась хорошая знакомая, некогда открывшая ему секрет удачного брака: «окупаться и выныривать». Да, ему виделось, что это достаточно безопасно. Только безопасность не имеет никакого отношения к любви.

Житейская печаль. Вот еще одна головоломка, над которой ему случалось размышлять. Как правильно – или правильнее: «Жизнь прекрасна, но печальна» или «Жизнь печальна, но прекрасна»? Одна

формулировка, безусловно, верна, но он так и не смог решить, которая из двух.

Да, для него любовь обернулась полным крахом. И для Сьюзен. И для Джоан. И – задолго до него – для Маклауда тоже.

Он пробежал глазами несколько вычеркнутых записей, а потом сунул блокнот обратно в ящик. Допустим, все это было потерей времени. Допустим, любви нельзя дать определение; можно только запечатлеть ее в рассказанной истории.

* * *

Взять хотя бы Эрика. Из всех его друзей Эрик действительно был настоящим добряком, а поэтому всегда приписывал хорошие качества другим. Отсюда и отсутствие упреков после того случая с избиением на ярмарке. После своего тридцатилетия он, работая в управлении муниципального планирования и живя в приличном домике в Перивейле, увлекся молодой американкой. Эшли говорила, что любит его; любовь эта проявлялась в желании все время быть рядом с ним и нежелании знакомиться с его друзьями. К тому же Эшли отказывалась ложиться с ним в постель: ой нет, только не сейчас, но когда-нибудь потом – обязательно. Эшли, видите ли, была верующей, а Эрик, который и сам в молодости придерживался религиозных взглядов, это понимал и ценил. Эшли не принадлежала к официальной церкви, потому что вспомни, сколько вреда нанесли официальные церкви; Эрик и тут проявлял понимание. Эшли сказала: если он любит ее и готов презреть земные блага, то обязательно примкнет к ее вере. И вот Эрик, временно отдалившийся от друзей, выставил дом на продажу, намереваясь передать вырученные средства какой-то нелепой секте в Балтиморе, с тем чтобы со своей невестой переехать в общину, где их соединит браком какой-то новоявлен богослов, или шаман, или шарлатан, после чего Эрик в обмен на перивейльский дом получит права поселенца в бессрочном владении телом своей новоиспеченной жены. К счастью, едва ли не в последний момент в нем пробудился какой-то защитный инстинкт, и Эрик отменил сделку по продаже недвижимости, после чего Эшли навсегда исчезла из его жизни.

Для Эрика это стало истинным бедствием. Он утратил веру в благие намерения окружающих, а вместе с тем и способность без остатка отдаваться любви. Сьюзен могла бы внушить ему недоверие к миссионерам. Но этого в предыстории Эрика не случилось.

Как ни странно, Гордон Маклауд, давно ушедший в мир иной, постоянно выносил ему мозг. Честно говоря, даже больше, чем Сьюзен. Она-то застыла у него в сознании, где волею судьбы и осталась, хотя по-прежнему причиняла ему боль. А вот Маклауд никак не унимался. Поэтому невольно возникал вопрос, что же творилось в голове у Маклауда в его последние, бессловесные годы, когда он только и делал, что таращился на жену, которая его бросила, на экономку и сиделку, чье присутствие его раздражало, на старинного приятеля Мориса, который приговаривал: «Промочи горло, дружище!» – и поил его спиртным прямо из бутылки, проливая половину на пижаму.

Итак, Маклауд день за днем лежал на спине, зная, что ничего хорошего ждать не приходится. Маклауд размышлял о своей жизни. Маклауд вспоминал, как он впервые увидел Сьюзен, то ли на танцах, то ли на чаепитии, в компании девушек, которые по большому счету хотели повеселиться, и мужчин, которые по большому счету занимались не самыми уважаемыми в обществе делами. А она танцевала с этими аферистами и спекулянтами – такими их рисовала его зависть. Даже самые честные из них были «сладкими мальчиками» и альфонсами. Но она на них не клюнула. Предпочла им всем того прохвоста с глуповатой ухмылкой, который лучше всех танцевал – пожалуй, только это и умел, – но тем не менее был в штатском из-за плоскостопия или трепыхания сердца. Как его звали, этого черта? Джеральд. Джеральд. И вот они кружились в танце, а он, Гордон, только следил глазами. Потом тот прохвост умер от лейкемии... уж лучше бы призвали его в авиацию: хотя бы рычаги какие-нибудь подергал на бомбардировщике, прежде чем воткнуться в землю.

Сьюзен, конечно, переживала – как говорили, была безутешна, но тут подоспел Гордон и заявил, что он как раз тот человек, на которого она сможет опереться как в военное, так и в послевоенное время. Она произвела на него впечатление девушки не то чтобы легкомысленной, но какой-то... – как бы это выразить? – слегка безответственной? Нет, это не совсем точно. Сьюзен его избегала, смеялась над какими-то его фразами, отнюдь не шутливыми, и, видя такую ее реакцию, уму непостижимую, даже дерзкую, он влюбился по уши. Внушил ей, что ее нынешние чувства не играют никакой роли, ведь, по его твердому убеждению, со временем она его полюбит, и она ответила: «Постараюсь». И они поспешно обвенчались, как многие пары во время войны. У алтаря он повернулся к

ней и спросил: «Где тебя носило всю мою жизнь?», но это не произвело желаемого эффекта. Жить вместе у них не получалось, заниматься сексом не получалось, если не считать успешного оплодотворения, но душевной близости так и не возникло. Так что их любовь закончилась крахом. Но в ту пору это не служило причиной для расторжения брака. Ведь какая-то теплота сохранялась, правда? И потом, у них уже были две дочери. Гордон мечтал о сыне, но Сьюзен не захотела больше иметь детей. Так что эта сторона их жизни была закрыта. Вначале – отдельные кровати, потом (из-за жалоб Сьюзен на его храп) – отдельные спальни. Тем не менее какая-то теплота сохранялась, хотя к ней все чаще примешивалось раздражение.

Вот и получилось, что он, по сути дела, заговорил голосом Гордона Маклауда, что было бы категорически невозможно при сохранении ненависти. Позволило ли это хоть сколько-нибудь приблизиться к истине?

* * *

Ему вспомнился еще один злобный человек: разъяренный водитель с красными волосатыми ушами, обсигналивший и обругавший его на пешеходном переходе в Деревне. А он в ответ ухмыльнулся: «Ты подохнешь раньше меня». В те годы ему думалось, что основное предназначение стариков – завидовать молодым. И вот настал его черед: завидует ли он сейчас молодым? Непохоже. Они вызывают у него осуждение? Повергают в шок? Иногда, но это понятно: чего заслуживали они, того заслуживал и он. Свою мать он когда-то поверг в шок обложкой журнала «Прайвит-Ай». А теперь сам был в шоке, когда на Ютьюбе услышал, как женщина поет о несчастной любви. Припев дал название всей песне: «Bloody Mother-Fucking Asshole».^[22] Он шокировал родителей своим сексуальным поведением. А теперь был в шоке оттого, что секс все чаще изображают как безумное, бездумное, бессердечное совокупление. А что тут удивительного? Каждое поколение считает, что отлично разбирается в сексе: каждое следующее смотрит свысока на предыдущее поколение, но до тошноты не приемлет следующего. Это нормально.

Что же касается более широких вопросов возраста и нравственности: нет, он не впадает в панику, страхась закрытия дверей. Но возможно, он еще не слышал оглушительного скрипа дверных петель.

* * *

Иногда окружающие спрашивали – кто с подвохом, кто сочувственно, – почему он так и не женился: многие думали, а то и намекали, что в действительности он состоял в браке – где-то, когда-то. Он всегда прикрывался английской сдержанностью и разнообразными отговорками, так что расспросы обычно заканчивались ничем. Сьюзен предрекала, что когда-нибудь ему придется сыграть некую роль, – и оказалась права. В эту роль он вошел почти незаметно для себя самого, изображая человека, который никогда по-настоящему не любил.

Между очень длинным и очень кратким ответом не было ничего – вот в чем проблема. Длинный ответ в сокращенной форме должен был, конечно, включать предысторию. Родители, их взаимодействие и характеры; его взгляд на чужие браки; вред, причиняемый в семьях у него на глазах; его бегство от возможного брака в дом Маклаудов и быстротечная иллюзия, будто он попал в некий волшебный мир; потом очередное разочарование. Обжегшись на молоке, дуешь на воду; обжегшись на воде, дуешь на все подряд. Он уверовал, что семейная жизнь не для него, и впоследствии никто не смог его разубедить. Действительно, он сделал предложение Сьюзен в кафетерии Ройял-Фестивал-Холла, а позднее – Кимберли в Нэшвилле. Здесь потребуются одно-два пояснения в скобках.

Длинный ответ получался чересчур затяжным. Краткий оказывался слишком мучительным. Звучал он так. Причиной всему – разрыв сердца: как именно оно разорвалось и что оставило после себя.

* * *

Вспоминая родителей, он нередко представлял их персонажами старой постановки времен черно-белого телевидения. Вот они сидят на стульях с высокими спинками по обе стороны очага. Отец в одной руке держит трубку, а другой разглаживает на колене газету; у матери на кончике сигареты опасно подрагивает пепел, но в последнюю минуту под рукой окажется пепельница, и вязанье не пострадает. Потом его память переключалась на другой эпизод, где мать в поздний час приезжает за ним на машине и с негодованием выбрасывает зажженную сигарету на подъездную дорожку перед домом Маклаудов. А дальше у обеих сторон – подавляемая обида, молчаливая дорога домой.

Он также представлял, как родители обсуждают своего единственного сына. Возникает ли между ними вопрос: где у них вышел сбой? Или только

«где у него произошел сбой»? Или как «его совратили». Он представлял, как мать говорит: «Так бы и задушила эту бабенку». Представлял, как отец проявляет свой философский склад ума и терпимость: «Никаких сбоев у парня не было, да и воспитание наше правильное. Думаю, у него еще профиль риска не стабилизировался. Так бы Дэвид Култхард^[23] сказал». Конечно, родителей не стало задолго до того, как Макс Ферстаппен совершил свои подвиги на Гран-при Бразилии, а отец совсем не интересовался мотогонками. Но возможно, нашел некую параллельную форму оправдания сына.

Он же, в свою очередь, задним числом испытывает благодарность за ту самую безопасность и скуку, против которой восставал при первом знакомстве со Сьюзен. Его жизненный опыт внушил ему веру в то, что первые шестнадцать лет жизни – это по большому счету вопрос ограничения ущерба. И родители в этом ему помогли. Так что случилось, условно говоря, посмертное примирение, пусть даже заключавшееся в переписывании им родительских образов; понимание укрепилось, и пришла запоздалая скорбь.

* * *

Ограничение ущерба. Он опасался, что всегда неправильно истолковывал тот неизгладимый образ, который сопровождал его всю жизнь: он стоит у окна мансарды и удерживает Сьюзен за запястья. Возможно, истина не в том, что он обессилел и ее не удержал. Возможно, истина в том, что она утянула его наружу своим весом. И он тоже выпал из окна. И получил тяжкие увечья.

* * *

Я успел навестить ее, когда она была еще жива. Съездил к ней не так давно – во всяком случае, по меркам течения житейского времени. Она не ждала посетителей, а тем более меня. Мне принесли стул. Прокручивая эту сцену заранее, я надеялся, что Сьюзен хотя бы смутно меня узнает и что на лице у нее будет умиротворение. Надежды, как я прекрасно понимал, возлагались не только на нее, но и на меня самого.

Лица меняются незначительно, даже в крайности. Но у нее, провалившейся то ли в сон, то ли в забытие, вид был далек от

умиротворения. Нахмуренный лоб, слегка выпяченная нижняя челюсть. Такое выражение лица я видел у нее не раз, когда она упрячилась, адресуя отказ в большей степени себе, нежели мне. Дышала она через нос, время от времени тихо всхрапывая. Губы плотно сжаты. Мне почему-то захотелось узнать, носит ли она до сих пор ту зубную пластину, изготовленную десятилетия назад.

Санитарка расчесала ей волосы, и несколько прядей упали на лицо. Почти машинально я протянул руку, чтобы в последний раз открыть ее изящное ушко. Но рука моя застыла, будто сама по себе, и я ее опустил, не зная, что мною двигало: забота о приватности Сьюзен или брезгливость, боязнь сентиментальности или боязнь внезапной боли. Скорее, последнее.

– Сьюзен, – тихо позвал я.

Она не отзывалась и по-прежнему хмурилась, упрямо выпячивая подбородок. Что ж, это справедливо. Я не принес и не ждал никаких вестей, не говоря уже о прощении. От любви как абсолюта – к любви как очищению? Нет. Я не верю в уютные сказки о жизни, которые кое-кто считает необходимыми, и давлюсь утешительными словами, такими как «искупление» и «успокоение». Единственное успокоение, в которое я верю, – это смерть, но рана будет кровоточить, пока не затворятся последние двери. Что же до искупления, уж очень это благостно, бромид киношника; помимо всего прочего, это нечто слишком уж величественное. Чего не заслуживают и, уж конечно, не дарят себе простые смертные.

Я раздумывал, стоит ли поцеловать ее на прощание. Еще один бромид киношника. И в смонтированном фильме она слегка шевельнется в ответ на мое прикосновение и подарит мне тень улыбки. Лоб разгладится, подбородок выровняется. Вот тогда-то я и уберу прядь черных волос за изящное ушко и шепну: «Прощай, Сьюзен». А сам, не вытирая слез, медленно поднимусь со стула и дам ей покой.

Но этому не суждено было сбыться. Я смотрел на ее профиль и видел кадры из моего потаенного фильма. Сьюзен в теннисном платье с зеленым кантом убирает ракетку в жесткую раму-пресс; Сьюзен улыбается на безлюдном пляже; Сьюзен в «остине», смеясь, резко переключает скорости. Но очень скоро мысли мои начали блуждать. Мне никак не удавалось направить их на любовь и утрату, на веселье и скорбь. В голову лезло: сколько у меня осталось бензина, долго ли ехать до заправки, не падают ли продажи сыра, который обваливают в золе, и что у нас сегодня вечером в программе телевидения. Угрызений совести я не испытывал; более того, сдается мне, угрызения совести меня больше не посещают. Но оставшаяся мне жизнь, уж какая есть и будет, звала меня к выходу. Я постоял и в

последний раз взглянул на Сьюзен сухими глазами. В вестибюле задержался у стойки администратора, чтобы узнать, где ближайшая бензоколонка. Администратор был со мной очень предупредителен.

notes

Примечания

«Fine and feathered friend» – из песни Джона Мерсера и Ричарда Уайтинга «Peter Piper», основанной на детской скороговорке и исполненной оркестром Бенни Гудмена в 1936 г.

На перекрестке трех дорог вблизи города Дельфы герой древнегреческого мифа Эдип убил своего отца, которого не знал; впоследствии он женился, сам того не ведая, на собственной матери.

Нэнси Митфорд (1904–1973) – британская журналистка, биограф, автор романов из жизни высшего света Англии и Франции.

Дж. Г. Байрон. Дон Жуан. Песнь I, ст. 194. Перев. Т. Гнедич.

Клара Шуман (1819–1896) – немецкая пианистка-виртуоз, композитор, жена и первая исполнительница произведений Роберта Шумана.

Выражение «Пелион взбросить на Оссу» и аналогичное «Оссу на древний Олимп взгромоздить» восходят к поэме Гомера «Одиссея» (песнь 11, ст. 105–120), где рассказывается о том, как внуки бога морей Посейдона, взбунтовавшиеся против богов-небожителей, стали угрожать им взять приступом небо. Для этого они задумали поставить гору на гору (Олимп, Осса и Пелион – горные массивы в Греции). Но Аполлон убил дерзких титанов, не позволив им осуществить задуманное. Иносказательно: отдать все силы осуществлению сложного, но бессмысленного плана.

В Священном Писании – жена и соправительница израильского царя Ахава, жрица богини Астарты. В тексте Книги Царств содержится указание «на любодейство Иезавели... при многих волхвованиях ее» (4 Цар. 9: 22). Иногда Иезавель называли Блудницей Вавилонской, хотя она происходила из финикийского города Тира.

Старая клеевая краска для внутренних работ, изготовленная с льняными маслами на водной основе.

Национальное блюдо киприотской кухни: котлета из рубленого мяса с приправами, завернутая в свиной сальник и жаренная на гриле или на углях.

«Little Man, You've Had a Busy Day» – песня Мейбл Уэйн, Эла Хоффмана и Мориса Сиглера, джазовый стандарт; впервые исполнена Элси Карлайл в 1934 г., затем ее пели Поль Робсон, Бинг Кросби, Перри Комо, Сара Воан и многие другие.

Традиционное юмористическое указание водителю везти пассажира прямо домой, не задерживаясь в пути.

Герой поучительной и веселой детской книжки в стихах Генриха Гофмана с иллюстрациями автора (*Der Struwwelpeter*, 1845), впервые опубликованной в русском переводе уже в 1848 г. Однако чрезвычайно популярным стало издание 1857 г. под названием «Степка-растрепка» (переводчик не указан), выдержавшее более 15 переизданий.

«Сны какие / Нас в вечном сне тревожить будут, / Когда с себя мы
свергнем это / Ярмо житейской суеты» (*У. Шекспир. Гамлет. Акт III, сц. 1.*
Перевод А. Московского).

А. Теннисон. In memoriam. Перевод Э. Соловковой.

Изречение французского мыслителя и моралиста Никола де Шамфора (1741–1794), цитировавшееся Барнсом в эссе «Мудрость Шамфора» (сборник «За окном», 2012).

«Clap Hands! Here Comes Charlie!» – известная с 1925 г. популярная песня, написанная Билли Роузом, Баллардом Макдональдом и Джозефом Мейером; в 1970-е гг. использовалась в Англии в рекламе горячего шоколада «Кэдбери».

Отсылка к библейскому эпизоду: «ТЕКЕЛ – ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. 5: 27).

Джон Макинрой (р. 1959) – американский теннисист, занимающий по сумме побед в одиночных и парных соревнованиях первое место в истории профессионального тенниса. Был известен скандальным поведением, в котором многие усматривали холодный тактический расчет.

Макс Ферстаппен (также Верстаппен; р. 1997) – потомственный автогонщик голландско-бельгийского происхождения, сын Йоса Ферстаппена.

Один из вариантов перевода цитаты из фильма «История любви» (1970).

«По-моему, Алексей Николаич, всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, – настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь» – реплика Ракитина из пьесы И. С. Тургенева «Месяц в деревне» (1855), цитировавшаяся Барнсом в рассказе «Вспышка» из сборника «Лимонный стол» (2004).

«Гребаный мудила» (*англ.*) – песня канадской певицы и автора-исполнителя Марты Уэйнрайт (сестра Руфуса Уэйнрайта, дочь Лаудона Уэйнрайта III и Кейт Макгарригл) с одноименного мини-альбома, выпущенного в 2005 г.

Дэвид Култхард (р. 1971) – шотландский автогонщик, участник чемпионатов Формулы-1 с 1994 по 2008 г.